

ГРИГОРИЙ  
БАКЛАНОВ  
ДРУЗЬЯ

©



**ГРИГОРИЙ  
БАКЛАНОВ**

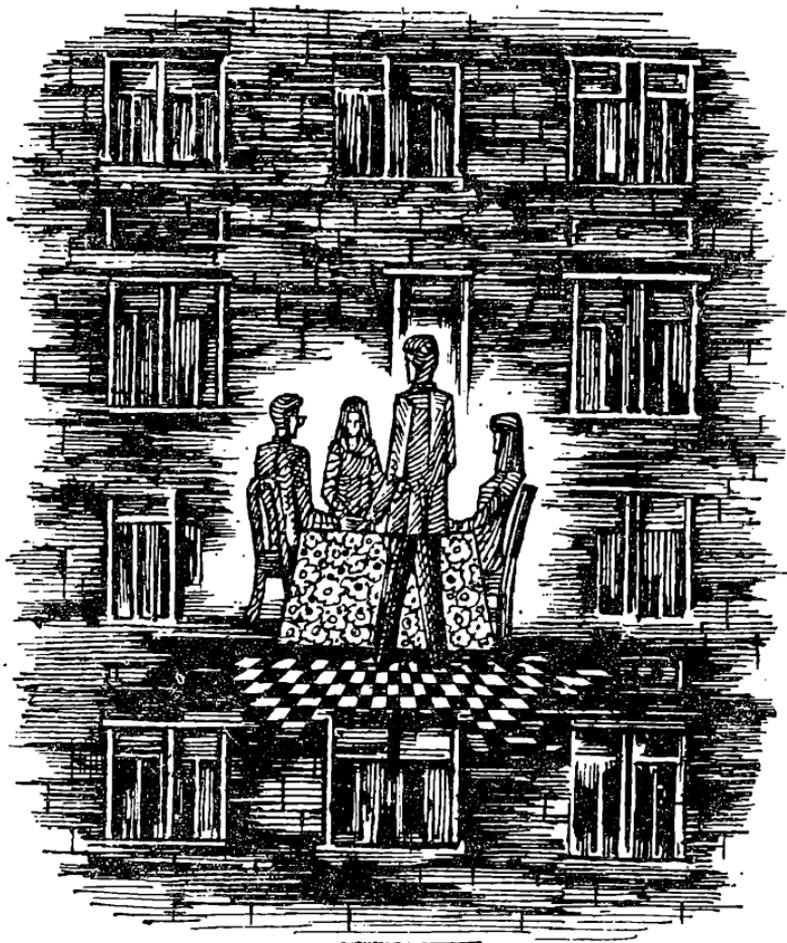
# **ДРУЗЬЯ**

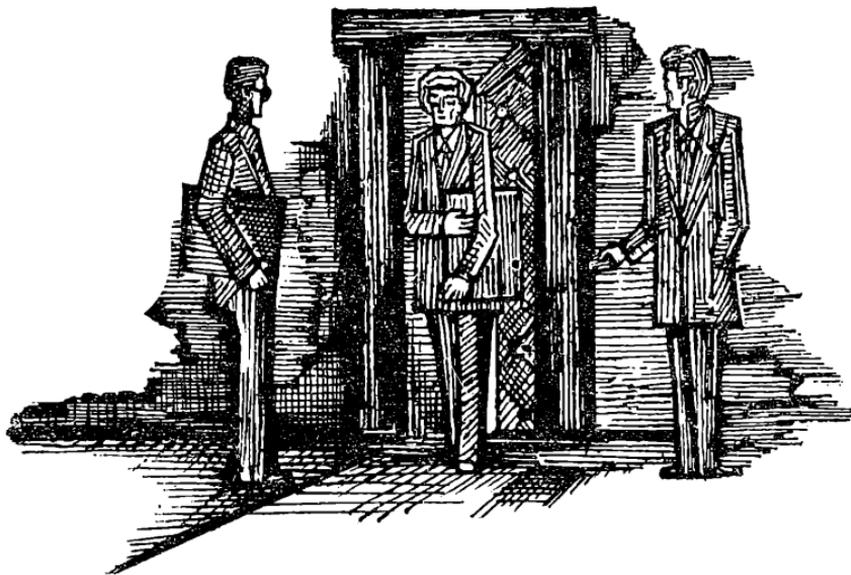
**Р О М А Н**

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1977

Роман Григория Бакланова «Друзья» рассказывает о наших днях, о наших современниках. Герои романа — люди, прошедшие войну, теперь это архитекторы, партийные работники, строители. Сейчас они в той поре зрелости, когда многое уже достигнуто, когда человек находится в расцвете сил, ума, таланта, когда решения и поступки его не случайны, а выражают его убеждения и нравственную сущность.

*Э. БАКЛАНОВОЙ*





## ГЛАВА I

Среди многих известий, облетающих в это утро Землю нашу со скоростью света, звука, сверхзвуковых самолетов, было известие местного значения. Его привезла на велосипеде почтальон Клава. Она ехала по деревне, нажимая на педали красными босоножками. У магазина прислонила велосипед к крыльцу, повесила сумку на руль. Еще с вечера шепнула ей продавщица: мол, заходи, резиновые сапожки привезли.

Хотелось Клаве, конечно, лиловые, с перламутровым блеском. Красные тоже неплохо: под зеленое демисезонное пальто. Белые, на худой конец: посверкать в темноте, хоть уже и не по возрасту вроде бы. А привезли одни желтые. Куда их? К чему? Она и в руках подержала и на ногу поглядела, но взять не решилась. При

ней завернули их в папиросную бумагу, положили обратно в коробку: кто-то другой будет носить.

Медведевы вставали из-за стола, когда с улицы раздался Клавин голос:

— Эй, дачники-и!

Застегивая рубашку на груди, Андрей вышел во двор, отогнал хозяйскую собаку, рвавшуюся с цепи. Клава, поставив ногу на раму велосипеда, вытягивала из сумки телеграфный бланк.

Фиолетовыми, с зеленым отливом чернилами было написано в телеграмме, что к двенадцати часам Медведева и Анохина ждет у себя товарищ Бородин.

Андрей глянул на часы. Времени в обрез. Судя по цифрам, проставленным на бланке, телеграмма была отправлена и получена еще вчера.

— Сын! — крикнул Андрей.

На крыльцо выскочил Митя, вытирая губы: парное молоко допивал.

— Беги, сын, к дяде Виктору, скажи — нас обоих вызывают в город. Срочно!

— Им тоже такая телеграмма, — сказала Клава.

— Отставить, сын!

В высоком небе, никого уже не поражая, пронеслись где-то невидимые спутники, и ширина Атлантического океана измерялась для них минутами полета. За десять часов пассажирский самолет со всеми удобствами переносил людей из Москвы в Нью-Йорк. Но здесь расстояния все так же измерялись не временем, а километрами. И телеграммы — и простые и молнии — доставляли раз в сутки. Летом на велосипеде, зимой пешком по снегу Клавиними ногами, обувыми в чесанки.

— Спасибо, Клава, — сказал Андрей, расписываясь в разносной книге у нее на колене. — Вот если повестка будет мне на тот свет, как бы это ее через вашу почту пустить?

— До ста лет жить хочешь? — Клава сверкнула стальным зубом, но больше так, по привычке: что зря время тратить с женатым человеком.

А на крыльцо уже вся семья вышла: и Аня («Здравствуйте, Клава») и Машенька; на нее Клава всякий раз глядела как-то по-особенному.

Сумку за спину, села Клава на велосипед и покатила по улице в сатиновых шароварах.

Четыре года назад, когда Медведевы впервые сняли в этой деревне полдома на лето, Клава только замуж вышла. Муж был моложе ее, недавно из армии вернулся. А прошлой осенью Клава овдовела. Шли они из соседней деревни со свадьбы, дорогой поссорились. Домой Клава пришла одна. До утра проревела, но все же не пошла мужа искать: характер не позволил.

Нашли его под проводами линии передач; один провод, оборванный, лежал на земле. Как уж так получилось, как совпало, что в широком поле именно на этот провод наступил он в темноте?.. А парень был хороший, непьющий. Теперь бегают по деревне трехлетний человек с зачерствелыми пятками, точная отцовская копия. И войны нет, и сын без отца.

Аня прочла телеграмму.

— Что это может быть?

— Поглядим.

Дочка не читала телеграммы, но поняла главное:

— Купаться не пойдем, да?

— С мамой пойдете.

— А ты?

Снизу вверх она смотрела на отца. Хорошо, когда есть в доме вот такое маленькое, говорит тебе «ты» и смотрит на тебя родными глазами.

— А вот вернуться из города, и со мной пойдем. Вечером вода те-оплая...

Здесь же, на крыльце, Аня сливала ему из ковшика. Голый по пояс, он мылся, перевесясь через перила.

— И все-таки зачем вызывают?

— Вообще-то отказывать есть помельче.— Андрей отфыркивался под холодной струей, глаза от мыла зажмурены.— К мэру нашему, к Бородину, зовут утверждать, одобрять, вручать. «Поощерять», как говорил наш старшина.

— Так ведь утверждено.

— Ну, может, решили вывести нас на орбиту. Придать нужное ускорение.

— Нервов твоих мне жалко.

— Тоже интересный оборот мысли...

У Ани еще не разогрелся уют, когда пришли Анохины — Виктор и Зина. И с ними Мила в шляпке с широкими полями.

— Старик дает! — говорил Виктор, шелестя телеграфным бланком.— Тебе телеграмма — «Немировский». Мне телеграмма — «Немировский». Дирекция не щадит затрат.

Андрей переодевался за шкафом, на открытую дверцу которого были накинuty его брюки. Видеть он оттуда не мог, но и по голосу чувствовал, как Виктор сейчас помаргивает возбужденно за стеклами своих очков.

— Ты вообще что думаешь на этот счет?

— Витя, что нам думать заранее? Мы пред господом богом, как пред нашим комбатом, чисты. Или в стихах это наоборот?

— Вот именно!

— Я так волнуюсь, так волнуюсь...

Это уже Зина.

— Зиночка, извини, я тут несколько без галстука...

Дверца шкафа качнулась, когда на месте брюк повисли матерчатые джинсы. И дважды в наружном зеркале качнулась комната, сначала в одну сторону проехала, потом обратно. И Зина увидела себя в зеркале всю, с красными пятнами на шее.

— Просто я сама не знаю, как я волнуюсь,— говорила она, поглаживая пятна.— Главное, мне вчера такой сон приснился...

В просвете между дверцей шкафа и полом переступали ноги Андрея в брюках.

— Бриться или не бриться? — спросил он. Складки брюк подпернулись вместе и встали остро.

— Дома побреешься,— сказала Аня, тронув зашипевший утюг.— Все равно белая рубашка там.

— Но я же рассказываю!

— Извини, Зиночка.

— Понимаете, как будто мы идем по лесу... Там такая трава, высокая-высокая, холодная-холодная. Ужасно какая холодная. И вдруг чувствую, что-то трогает меня... Людмила, выйди,— сказала она дочери строго.

Мила, оформившаяся четырнадцатилетняя девочка ростом с мать, вздохнула, заведя глаза (мол, с нашей матерью не соскучишься), и вышла.

— ...Вы представляете, трогает меня за грудь. Холодное такое и мерзкое. Даже вспомнить гадко!

— А где Виктор был в это время? — спросил Андрей.

— Да, где я был?

— Отпускаешь одну во сне...

— А он, между прочим, всегда так. Я кричу: «Виктор! Виктор!» Хочу бежать, а ноги отнялись. Ужасная глупость, конечно...— Зина засмеялась, застыдясь, как девочка.— Я лично снам не верю...

— Ключи взял? Деньги? — спрашивала Аня, подавая за шкаф поглаженную рубашку. Она обычно с трудом переносила Зинино кокетство и вообще «Зину в больших количествах».

Одетый, Андрей чмокнул дсчку, Аню. Сына потрепал по шее. Дети увязались было провожать, но до станции три километра, до поезда — тридцать пять минут.

— Вы там смотрите, держите высоко! — что-то ей самой неясное желая сказать и чего-то стыдясь, кричала Зина, и смеялась, и оглядывалась.

— Мы выйдем помахать вам! — крикнула вслед Аня.

Через полчаса, гудком оглашая окрестности, промчался внизу поезд. Зина с дочерью, Аня с детьми стояли на высоком песчаном откосе под сосной. Женщины махали вслед, дети прыгали и кричали.

Не война, не на фронт провожают мужчин, но когда замелькали внизу крыши вагонов и гудок раздался, у Ани словно предчувственным дальним сжало сердце. И беспокойно вдруг стало.

## ГЛАВА II

В вагон идти не хотелось. Стояли в тамбуре, курили, подрагивая вместе с полом. В подошвы ботинок стучали колеса. В открытую дверь толкался ветер, вышибал искры из сигарет.

— Ты видел пометку на телеграмме? — спросил Виктор.

— «Ночью не вручать»? Ну тут хоть бы и вручать, Клава раз в сутки возит.

— Пометка знаменательная.— Виктор значительно помолчал.

Что знаменательная, Андрей и сам понял. За сорок лет жизни никто еще не заботился о том, вручат ли ему телеграмму утром, днем, ночью. Этим жестом их обоих отнесли к разряду людей, чей покой ценим и оберегаем. Но Андрей знал по опыту и другое: в жизни никакие блага не раздают задаром. И не все, что дают, надо хватать.

— Как думаешь, с чем встретит старик? — спросил Виктор.

— Черт его знает, конечно, но мне кажется, собрались паче с тобою ласкать.

— Думаешь?

— А чего бы так вдруг? Да срочно. Проект-то наш утвержден.

— Знаешь, мне — тоже, — сказал Виктор. — Может, очень хотим, оттого?

— Так ведь тут и хочешь и боишься. Путь от проекта до воплощения — это путь потерь. Вот чего не хочется.

А что, собственно, может случиться, если не быть суеверным? Конечно, заранее лучше не загадывать, но ведь действительно утвержден проект микрорайона, который они с Виктором будут строить. И не где-либо строить, а на самом въезде в город с аэродрома. Первое, что увидят люди, въезжая. Неужели что-нибудь стряслось вдруг? Если трезво подумать, не должно бы.

— Да-а... Приедем, а нам как раз по затылку... — сказал Виктор на всякий случай. Он тоже другого ждал, в хорошее верилось.

Влетели на мост, полный ветра и грохота. Глаза сами щурились от встречного мелькания перекрещенных красных металлических конструкций; все они были в крупных заклепках. Паровоз загудел, гулко отдалось, как в железной бочке.

Внизу сквозь мелькающие шпалы — черная река, плоскодонка в неподвижной воде у берега, в ней горбится рыбак.

Андрей еще мальчишкой был, и вот так же горбился рыбак в тени берега, и такой же на нем был прорезиненный плащ. Может, он вечно сидит под мостом, а над ним проносятся и поезда и времена?

Сорванный ветром клочок белого пара остался таять над черной водой, а поезд вырвался из мелькания и железного грохота, и неподвижными на миг показались

поля. Они медленно поворачивались, телеграфные провода над ними взлетали и падали, взлетали и падали.

У переезда перед опущенным шлагбаумом стоял пыльный грузовик. За стеклом кабины смутно угадывалась женщина с младенцем на руках. А на подводе высоко на мешках блестела загорелыми ногами подводчица в белой косынке.

И это тоже мелькнуло.

Поезд пошел по дуге, показывая все подряд спешащие за паровозом вагоны с пассажирами в окнах. Из одного окна плеснули воду, ярко заблестела зеленая краска другого вагона.

А уже вдаль из равнины полей, из нагретого дрожащего воздуха возникал распластаный город: серый элеватор, трубы ТЭЦ и химзавода — все это неясно, в бензиновой дымке. Стеклышком, попавшим на солнце, блеснули подновленные главы монастыря. Поезд прибавил скорость, загудел.

Из всего понастроенного за многие годы, что теснило друг друга, заслоняя силуэты, по-прежнему был виден издалека монастырь. Умели архитекторы прошлого выбрать место, знали толк, и был глаз.

На вокзальной площади стелили асфальт, как всегда летом. Грохочущее стадо машин двигалось взад-вперед в сизом чаду. Подъезжали самосвалы, опрокидывали из кузовов черные кучи горячей, маслянисто-рассыпчатой массы. Что-то кричали шоферы, но голоса их глохли в реве моторов.

И на всех механизмах, на катках, на машинах сидели за рулем мужчины. А женщины, повязанные по брови косынками, закопченные и загорелые, в пудовых башмаках, таскали на лопатах асфальт.

Отвесно жгло полуденное солнце, жаром дышала площадь, жар шел от железа, от перегревшихся моторов, от блестящих коричневым соляровым маслом огромных катков.

Оттесненные к краю пассажиры, с поезда попавшие в эту пышущую духовку, суетились под стеной с чемоданами в руках, боясь соступить с тротуара; след чьей-то туфельки уже отпечатался в свежем асфальте. От грехота лица у людей были напряженные.

Заметив такси на стоянке, Андрей и Виктор кинулись к нему, сели на проваленное заднее сиденье, сказали адрес. Шофер, молодой, в ковбойке, взялся уже за ручку счетчика, но тут увидел настоящего пассажира. Согнутая под тяжестью двух перекинутых через плечо на полотенце ивовых корзин, обшитых сверху материей, красная, умытая потом, женщина озиралась светлыми глазами, держа еще одну корзину с вишней в руке. Такая не на счетчик глядит; достав из-за пазухи, развязывает зубами платок, где у нее влажные от пота рубли и трешницы: отвези только. Но уже другой звал ее. Парень сердито включил счетчик.

В машине условились, как действовать дальше, и Андрей первым вылез у своего дома.

За короткий срок все в квартире приняло пыльный холостяцкий вид. Голые, без штор окна, приклепанные к рамам, желтые от солнца газеты.

Прежде всего Андрей позвонил главному архитектору города, руководителю их архитектурной мастерской Немировскому. Знакомый, с генеральскими нотками бас в трубке — Полина Николаевна, секретарша!

— Андрей Михалыч? Минутку...

Пока докладывалось, пока подымалась другая трубка, Андрей, чтобы времени зря не терять, начал раздеваться. Перенося трубку от уха к уху, стряхнул с себя оба рукава рубашки.

Однажды был у него телефонный разговор, один из тех разговоров, которыми определяется многое, и тут вдруг подошла Машенька — ей года два было тогда, не больше, — подошла и ясным звучным голосом (хорошо, он трубку успел прикрыть вовремя) сообщила о своем

сокровенном желании. В доме только они двое, разговор прервать нельзя и ребенка ждать не заставишь. Жестами показывал он дочке, куда пойти, что принести. Усадив ее рядом с собой на горшок, погладил по головке, а важный разговор с важным лицом все длился. Потом Машенька радостно сообщила: «Я уже...» Это хорошо, что в их городе нет видеотелефона, техника пощадила их.

— Андрей Михайлович? Признаться, я уже беспокоиться начал: вдруг не пожелаете отпуск прервать...

После генеральского баса Полины Николаевны голос Немировского был несколько тонковат, требовалось время, чтобы ухо привыкло. Но слышалась в нем общая обремененность многими делами и заботами. Андрей разговаривал и видел Немировского: белоснежная рубашка, узко завязанный галстук, длинная кисть руки поигрывает карандашом, вальяжная поза.

— Как только получили вашу телеграмму, Александр Леонидович, в тот же самый миг...

В одних трусах, босиком он топтался на теплом от солнца, пыльном паркете. Немировский вводил его в курс дела:

— Ну что же, общие контуры прорисовываются довольно благоприятные. Сам факт, что мэр хочет видеть вас, сам этот факт надо рассматривать как одобрение.

«Мэр», оттенок легкой иронии — все это новые времена. О чем прежде говорилось с трепетом, теперь — с легкой иронией, с гарниром вольности. Иначе выглядит неприлично: не может же современный просвещенный человек серьезно говорить о том, о чем нельзя говорить без юмора.

Но в общем, кажется, произошло именно то, что он и предполагал. Где-то наверху, на какой-то стадии — где и в связи с чем, пока не вполне ясно, хоть Немировский и делает вид, — решено придать их проекту микрорайона большее значение и вес.

— ...Впрочем, я все расскажу по дороге. Полина Николаевна высылает за вами машину.

Предстояло еще выслушать маршрут. Это была известная слабость Немировского: всем всегда он объяснял, каким транспортом проехать, где лучше сделать пересадку, где перейти. Никто не знает города лучше, чем он, его маршруты наилучшие. И многие, чтобы сделать приятное Немировскому, спрашивали у него, как проехать или пройти.

— ...следовательно, заедут за вами, а уж вы... Нет, постойте, что я говорю. Анохин подхватит вас по дороге, и вместе заедете за мной. Но езжайте не по улице Гастелло — там сейчас в очередной раз перекрыто, — а по Солнца Свободы и там через Всехсвятский...

Андрей переступал босыми ногами, ждал. Сейчас должна последовать шутка: «И не забудьте помыть шею!» Он сразу же громко захохотал: шумное одобрение — лучший способ закончить разговор. Это как раз та нота.

От телефона — бегом в ванную. Из душа обрушилась на голову холодная, теплая и наконец горячая вода. Стоя в пенных потоках, крепко зажмурясь и растираясь, Андрей пел что-то нечленораздельное. Бетонный потолок глухо резонировал. Ванная наполнялась паром.

Он выскочил значительно посветлевший. Бреясь, соображал: где запонки? где галстук? Когда затягивал узел на горле, со двора раздался гудок автомобиля: Виктор уже ждал.

В лифте, надевая пиджак, оглядел себя в зеркале. Мелькали вверх зарешеченные двери на площадках этажей. Андрей промакнул ладонью свежий порез на подбородке. А каким-то другим зрением, словно со стороны, видел все происходящее: и себя, и весь этот помчавшийся день, и суету, в которой он участвовал.

Черная «Волга» стояла у подъезда. Виктор похаживал около нее с сигаретой, хмурился, пробуя строгий

взгляд и выражение лица. Он тоже был в сером костюме и белой нейлоновой рубашке.

— Слушай, мы с тобой, как двое в штатском, — рассмеялся Андрей.

Виктор молча указал глазами на женщину с двумя кошелками в руках. Остановясь, она смотрела, как они садятся в черную «Волгу».

Едва сели, машина тронулась с места; мотор мягко работал. Он был на пять лошадиных сил мощнее обычного. Но не столько даже эта скрытая под капотом мощь мотора, как внешние знаки отличия — несколько лишних никелевых пластин, укрепленных снаружи, и желтые фары — определяли принадлежность этой «Волги» к тому разряду машин, в которых ездят ответственные служащие и еще «Интурист» провозит по центральных улицам города иностранцев, взирающих из-за стекол.

Сидя в этой машине, Андрей испытал новое для себя приятное ощущение, словно он вдруг стал значительней в собственных глазах. Звучало радио, включенное едва слышно, позади их затылков — белые присборенные шелковые занавески, матовый свет сквозь них.

Поставив подошвы ботинок на вычищенные, выбитые серые коврики, они мчались по городу вместе с тихо звучащей музыкой и сигаретным облачком под плафоном — отдельный микромирок.

Причесанный с водою, так, что в редких светлых волосах над розовой кожей остались следы расчески, немолодой шофер глянул в зеркальце, дрожавшее впереди, увидел, как Андрей стряхивает пепел в спичечную коробку, и, заведя руку назад, открыл пепельницу в спинке сиденья:

— Курите.

Навстречу неслась булыжная мостовая, рессоры поглощали толчки, сдержанно рокотало под машиной.

Сливались и расходились блестящие трамвайные

рельсы, звеня, катились по ним пустые в этот час трамвая. Телеги с медленно поворачивающимися колесами, лошади, афишные тумбы на тротуарах, прохожие, скапливающиеся у магазинов,— все это мелькало и пронеслось мимо.

Придышавшимся к городу легким уже и воздух казался свежим, обдувало ветерком, холодило непросохшие волосы. На мосту, по асфальту, как по воздуху, машина пошла неслышно.

Немировский ждал их у подъезда, прогуливаясь с папочкой в тени старых лип. Он отпустил шофера, сказав, чтобы тот подхватил их «напротив бывшей булочной Филиппова, где в прошлом году самосвал без водителя сбил фонарный столб».

— Ну? — сказал он, когда машина отъехала, а Медведев и Анохин стояли перед ним на тротуаре и он оглядывал их, как бог свое удачное творение.— Я бы, тьфу, тьфу, поздравил вас, но нет более суеверных людей, чем архитекторы и кинематографисты. Покойный Сергей Эйзенштейн никогда заранее не назначал натурную съемку. Его спрашивают, бывало: «Можно давать команду?» — «Да нет, все равно погоды не будет. Ну, выезжайте так просто». И на съемочную площадку приезжал, как будто посмотреть зашел. Все с ним хитрил.— Немировский указал на небо.— А потом отснимет и показывает пальцем: «Обманул...»

У Немировского была и эта известная слабость: о знаменитых современниках он рассказывал как о своих личных знакомых. Но только люди бестактные или подбострастные сверх разума могли спросить: «А вы были знакомы с Эйзенштейном?»

— Так что пока не буду вас поздравлять, на всякий случай воздержусь.

Расправив плечи, они шли по левую и по правую руку, а посреди Немировский свободно нес свой светло-кофейный костюм современной грубой выделки.

Еще не так давно в их городе особенно ценился габардин, бостон, тяжелое дорогое трико. Все это, фундаментальное, неизносное, как бы венчало определенный этап жизни. Теперь эти вещи наполняли комиссионные магазины, как гардеробы костюмерных. Новый стиль, всемирная демократизация одежды требовали, чтобы шерстяная ткань выглядела как мешковина, и особый шик, высшую элегантность давало костюму то, что он «удобен для работы». Даже вещь, достать которую удалось ценою унижений и просьб, носить следовало небрежно, дескать, не мы для вещей, вещи для нас.

— Ну что; признавайтесь, ругали меня не раз?

— Что вы, Александр Леонидович!

— Ругали, ругали. И чертыхали. Надеюсь, только в душе. Чтобы мысль проросла, для нее должна быть подготовлена почва. Удобрена и взрыхлена. Вот этим я и занимаюсь, пока вы, пардон, ругали меня.

— Александр Леонидович!..

— Поспешить — это значит дело погубить. Только тот, у кого хватает мужества ждать... А в то же время в точно уловленный момент...

Старик был взволнован, немного актерствовал. Надо было дать ему произнести трехминутную речь.

— Голая идея нежизнеспособна. Она должна являться в мир в одежде из слов. Человек рождается голеньким, но его ждут любящие родители. Идеи никто не ждет. Но если есть кто вовремя скажет нужные слова...

Немировский кивнул на ходу, полагая, что отвечает на поклон, и проходившая мимо женщина удивленно посмотрела на него. Он привык и всегда считал, что в городе все знают его, но город сильно разросся в последние годы.

— Вас вызвали, чтоб лично выдать вам порцию похвал и одобрения. Скромность, скромность и скромность — вот ваша визитная карточка на сегодня. Все

еще придет. Потомки узнают, если современники признают. Теперь так: будут вопросы. Хорош ответ тот, которым вы одновременно отвечаете и на непоставленный вопрос. Да, да. Многие вопросы не будут вам заданы в силу простой некомпетентности, в силу тысячи причин. Ответьте на них, если они представят вас с выгодной стороны. Сами продиктуйте условия игры. Но этого мало. Вы должны сделать подарок своим слушателям. Какой? Очень просто: несколько живых примеров, несколько удачных фраз, чтоб их потом использовали в выступлениях. Вам понятно? И помните: впечатление, которое вы произведете сейчас, останется. Так кто будет давать пояснения?

Андрей заметил, каким напряженным вдруг стало лицо Виктора. Числилась за Витькой эта слабость: он любил докладывать в присутствии начальства.

— Виктор Петрович пускай,— сказал Андрей.

И с удивлением увидел, что и старика этот вариант устраивает. Он знал — Немировский больше отличает его; с Витькой отношения официальной. Однажды в откровенном разговоре он даже заступался за друга. А вот сейчас Немировский обрадовался, что докладывать будет Виктор, явно этого хотел.

Они были уже возле машины.

— Ну, бог не выдаст, свинья не съест. Я вас введу!

И Немировский полез в открытую для него дверцу. С папкой на коленях, он распрямился на переднем сиденье, лицо приняло то обычное выражение, с каким он ехал по городу: немного грустное (веселы в жизни только глупцы), немного усталое. Думающее выражение человека, обремененного многими заботами.

Ехать оставалось всего метров четыреста. Не ехать—подкатить. Но это следовало проделать с должной торжественностью.

### ГЛАВА III

И это было проделано. Черная сверкающая «Волга» описала по площади широкую дугу и стала у подножия ступеней. Из распахнувшихся на обе стороны задних дверц, жмурясь от яркого солнца, вылезли Андрей и Виктор, вылезли так, будто всякий день вылезали здесь из машины.

На виду окон они расправляли плечи, застегивали пиджаки, оглядывались особым, поверх голов, взглядом.

Открылась передняя дверца, ища опоры носком ботинка, высунулась нога Немировского, белая и худая из задравшейся штанины. Нога бывшего теннисиста.

Асфальт у подъезда, мягкий на жару, весь до каменных ступеней был истыкан каблуками — шпильками многочисленных секретарш. Как стадо козочек, пробежали они утром на работу и теперь на всех шести этажах стрекотали на пишущих машинках, разговаривали по телефонам и между собой.

Немировский вылез, распрямился, глянул на ступени вверх. Впервые они возникли на ватмане под его рукой. А потом десятки каменщиков зимой в мороз и летом в жару, оседлав каменные плиты, тесали их зубилами и молотками. Многие люди с тех пор взошли по этим ступеням вверх, многие сошли бесследно.

От колонн Немировский глянул на площадь. Привезшая их «Волга» отъезжала; пятая осторожно, становилась в ряд. В желтые фары ее на миг попало солнце, они сверкнули, как прожектора.

И эта площадь тоже впервые возникла у него на ватмане. Здесь были прежде торговые ряды — кто теперь их помнит? Политая дождями и мочой, жирная от навоза, перемешанная конскими, бычьими, коровьими копытами земля. А горком и горисполком помещались тогда в красном кирпичном здании бывшего Благород-

ного дворянского собрания. Туда и принес Немировский ватманы и макет.

В замысле здание это было иным. Оно должно было стоять на одном из пяти холмов города, как раз против главной улицы, на ее оси. Низкий цоколь из дикого, необработанного камня, неасфальтированные подъезды — каменные плиты и проросшая меж плитами трава, — несколько валунов на травянистом склоне. Здание естественно выросло из природы, оставаясь частью ее. Уже тогда он видел то, что было бы современно сегодня, что смотрелось бы сейчас.

С правой стороны (а если глядеть с холма, то слева), среди дубов и кленов, желтых осенью, он поставил бы в парке драматический театр. А по другую сторону — тоже в парке — памятник героям революции. Вечерами — направленный свет прожекторов. Это мог быть красивейший ансамбль, это была бы его Тамань: «Написать «Тамань» и умереть...»

Он был тогда моложе на тридцать с лишним лет, он принес свои ватманы и развернул на зеленом сукне, как разворачивают дитя из пеленок. И предстало его дитя голым на всеобщее обозрение.

Он еще не знал, что люди редко видят вещи своими глазами, еще реже — глазами тех, кто для них ничего не значит; потому так трудно утверждает себя все новое, непохожее. Но господствующее представление люди охотно делают своим. И потому важно, необходимо, чтобы мнение было подготовлено, чтобы прежде услышали о том, что предстоит увидеть. И даже те слова, которые скажут в итоге, должны быть умело подсказаны.

А он развесил ватманы, поставил макет на сукно и отступил, немой от волнения. И ждал. Потом, когда уже было поздно, он что-то жалко лепетал о законах архитектуры... Что законы архитектуры, когда, казалась, законы природы переделывались, чтобы утвердить над всем величие и власть человека.

И срыли холм. Тогда еще не было бульдозеров, не было экскаваторов. Его срыли лопатами, увезли на телегах. А позже возникли эти ступени.

Впрочем, Александр Леонидович не раз потом думал с удивлением, что хотя люди, разглядывавшие тогда его проект, в законах архитектуры разбирались слабо, что-то другое понимали лучше него. И здание, которое в конце концов воздвиглось и стало прочно, несло в себе идею и утверждало ее. Со временем он привык даже гордиться: это построил я.

И вот по этим ступеням, которые впервые возникли на ватмане под его рукой, он вел вверх Анохина и Медведева, все нужные слова сказав наперед, все сделав, оговорив и предварив.

#### ГЛАВА IV

Их ждали. Едва они вошли в приемную, предводительствуемые Немировским, помощник поднялся навстречу:

— Ждут. Уже ждут.

С достоинством и радушием он лично и в своем лице приветствовал их.

— Владимир Никифорович? — тихо спросил Немировский, глазами указав на дверь.

Помощник кивнул вполне утвердительно. Это означало, что заместитель председателя Митрошин там и настроен в их пользу.

В левой руке Немировский держал папку, а правая, когда он входил в учреждение на соответствующие этажи, была свободна для рукопожатий. И теперь он подал ее помощнику. Тот пожал сердечно. Выпущенные белые манжеты, белый воротничок, галстук в косую полоску, заколка с цепочкой, склоненный к плечу седоватый зачес.

— Здравствуйте, Виктор Петрович! Здравствуйте, Андрей Михайлович! — с должным почтением, но и себя не роняя говорил помощник и ответно пожимал руки и ласково взглядывал в лица.

Все, кто ждал в приемной и теперь обречен был ждать долго, тоже встали и отчего-то улыбались.

Даже прожив две недели отпуска в деревне, Андрей и Виктор все еще выглядели там белыми, незагорелыми горожанами. Но здесь они стояли бронзовые от солнца и воздуха. И все смотрели на них. А на столе помощника лежала снятая телефонная трубка, в ней попискивал измененный мембраной голос, но никто не обращал внимания. Вот этот царапающийся в трубке человеческий голос мешал Андрею в момент торжества. Но он стоял со всеми, улыбался, как все.

Зазвонил другой телефон. Со спокойной улыбкой доброжелательства помощник продолжал разговаривать с ними.

— Дятчин? — спросил Немировский доверительно.

С некоторой грустью, что Дятчин там, помощник прикрыл свои зоркие глаза, но в целом лицо его выражало, что хотя он и там, Дятчин, но мы же с вами знаем: сейчас это никакой роли не играет.

Информация, полученная вместе с рукопожатием, была исчерпывающей. Но еще важнее было то, что помощник счел нужным информировать, лично спешил присоединиться к царившему настроению. Значит, в те несколько часов, пока Немировский не держал руку на пульсе событий, ничто не изменилось.

Сделав три шага, словно три раза скакнув, помощник распахнул дверь и вытянулся около нее. Правая его укороченная нога только носком доставала до пола, от этого казалось, что он привстал на цыпочки.

И когда уже проходили мимо, помощник тихо, не для всех и не для разглашения, проинформировал:

— Должен подъехать Игорь Федорович. Большой души человек!

Игорь Федорович Смолеев, уже с полгода первый секретарь горкома, был человек в их городе новый. Если бы Андрей был настроен на ту особую волну служебных отношений, где столько своих тонкостей, сложностей и подводных камней, где ни одно слово зря не говорится, он бы уловил главное, что было понятно этим двум пожившим и послужившим на своем веку людям, из которых один сказал, другой понял, оценил и, чтоб уж не ошибиться, в глаза взглянул. Но Андрея вот это с жаром и поспешностью сказанное «большой души человек» покорило. Никогда он не понимал радостной готовности к самоуничижению. А ведь немолод уже и на фронте был, наверное: нога-то перебитая.

Но Виктор, хоть и не подал виду, оценил услышанное. Докладывать в присутствии обоих руководителей города — это открывало свои возможности. Такие возможности выпадают не часто.

Помощник притворил за ними дверь в темноту междверного пространства — шкафа, — глушившего голоса и звуки. А следующая дверь была в кабинет.

И они уже не видели, как помощник кинулся к телефону: «Приемная!» — схватил трубку со стола: «Минутку!» И, управляясь с двумя телефонами сразу, еще и народу в приемной успевал показать: мол, теперь ждите, не нам с вами чета.

Те и сами усаживались надолго вдоль стен: да-а, не чета... Это успех прошел перед ними, а успех не ждет в очередях, перед ним сами растворяются двери. Он и разглядеть себя не дал хорошенько, мелькнул, оставив в приемной улыбки и тягучие уважительные размышления. И не последней была тут мысль, что подождать можно, чего не подождать, лишь бы потом войти к начальству под хорошее настроение.

По той невидимой дорожке, что сегодня сама раска-

тывалась перед ними и вела, вступили они в кабинет. И хоть разителен был свет после темноты, они увидели сразу, что все тут собрались вокруг их макета, установленного на отдельном столе. Сам Бородин с указкою в руке объяснял. Он положил указку, двинулся навстречу, несколько расставляя ноги, был он тучен.

Завесы солнечного света от широких окон делили кабинет поперек, и он шел, первым пересекая их, голая бритая голова его блестела, то на яркое солнце попадая, то в тень.

— Который же из вас Медведев? Который Анохин? — спрашивал он, оглядывая обоих. И поздоровался с Немировским; с папкою в руке тот имел при нем вид дисциплинированного служащего.

То, что они понравятся, можно было ожидать заранее. Они понравились бы сейчас, будь даже оба косые, кривые или заумные. И это бы простилось. Но перед Бородиным плечо в плечо стояли два рослых человека, такие, что нигде не стыдно показать. И он, довольный, оглядывал их. А они, как в армии перед высоким начальством, расправив груди, безошибочно выставляли то, что нравилось: хорошую выправку и скромное сознание своего места. И даже некоторую свою одинаковость.

— Жены вас не путают?

Бородин победно оглянулся на своих подчиненных. Все заулыбались.

— Не обижаетесь, что прервали ваш отпуск?

— Что вы, что вы, Алексей Филиппович! Как только получили телеграмму...

— Зря беспокоить людей не годится, а для дела... Дело превыше нас всех. Оно не ждет.

Бородин пожимал им руки своей мясистой рукой, внимательно всматривался в лица. Не только хорошей выправкой радовали они, было еще в обоих то, что особо приятно глазу. Никаким другим словом это не определишь как только словом «наши». А много в том слове.

Оно еще должно было открывать перед ними закрытые двери.

— Мы тут посоветовались предварительно,— говорил Бородин, пока остальные в очередь пожимали им руки. Он озабоченно взглянул на часы, и наморщилось над бровями, где раньше был лоб; теперь обширный глянцевоый лоб простирался до самого затылка.— Так кто, товарищ Немировский, доложит нам? Вы или доверим одному из авторов?

— Пусть уж авторы,— поощрил Немировский, используя предоставленную ему свободу действий именно так, как ожидалось.

И все испытали привычное удовольствие от этой несрепетированной, но так сразу хорошо пошедшей игры, где каждый знал свою роль.

— Вот Андрей Михайлович. Или Виктор Петрович?

— Виктор Петрович,— сказал Андрей.

Все опять окружили макет: белые крошечные здания среди крошечных сосен, такие красивые, какими они бывают только на макете.

— Я думаю, правильной будет начать с основных идей, положенных в основу,— предварил Немировский.— Ведь, в сущности, ни один род искусства не несет в себе идею настолько, насколько несет ее в себе архитектура. Я бы даже сказал, вне идеи архитектуры вообще не существует.

Все кивали, слушая привычные слова в привычном порядке, и на лицах было строгое выражение.

— Это не абстрактные идеи, а непременно идеи своего общества.

— Добро! — сказал Бородин и из своих рук передал указку Анохину.

Для него все происходившее не было ни игрой, ни даже неким необязательным вступлением. Там, где казалось порядка, не могло быть необязательного: все важно, нужно, все значительно и взаимосвязано. Каж-

дый камень держит здание, ни один не должен шататься. Он отдал этому жизнь, и не было зрелища радостней для его глаза, как видеть порядок во всем: и в целом и в частностях. Порядок и незыблемость.

Виктор взял в руки указку, выдвинулся в центр.

— О чем мы думали, когда приступали к работе,— сказал Анохин несколько театрално, от волнения.— Есть один, если так можно выразиться, принципиально важный вопрос: земля. Ее у нас, как известно, не покупают и не продают. И это, я бы сказал, великое благо. Нам не надо заботиться о том, сколько будет стоить участок, в состоянии ли мы его купить. Государство во всех случаях избавило нас от этих нелегких забот. Но иногда некоторые отдельные товарищи не совсем правильно пользуются теми благами, которые государство так щедро предоставляет нам.

Они условились, о чем и что говорить. Но уж такие до неловкости прописные истины говорил сейчас Виктор и так он их говорил, как будто помощник повлиял на него. Будь это с кем-то другим, так и наплевать бы, но за Витьку стыдно как за себя. С тем более строгим, непроницаемым лицом стоял Андрей, видом своим как бы исключая возможность происходящего. Все слушали. Только очки Дятчина блестели настороженно. Даже когда Немировский, человек, многократно заслуживший доверие, говорил об идейности архитектуры, даже тогда Дятчин слушал настороженно. Он не высказал неодобрения, он присутствовал, но присутствовал так, что права ссылаться на себя никому не давал.

Менялась обстановка, менялись люди. Дятчин был всегда. И всегда — зам. Даже когда его как бы уже и не было, вот как сейчас, он все равно был и слушал настороженно. Из-за голов и спин блестели его очки, в их толстых стеклах свет слоился кругами, а центры этих кругов — два зрачка, глядевших слепо.

— Под строительство,— продолжал Виктор,— стараются получить земли, которые не требуют дополнительных затрат. А это всегда, как ни печально, лучшие пахотные земли. Если мы проанализируем рост отдельных городов, мы увидим, что они ползут в сторону пахотных земель. К тому же участки отводятся большие, неоправданно большие. Отмечено желание отдельных товарищей прихватить с запасом. А в результате — удлинение коммуникаций. Что в конечном счете оборачивается удорожанием.

Тут ветерком прошелестело веселое оживление. Неназванные «отдельные товарищи» — это были их соседи. Про соседнюю с ними область недавно писала в этой связи центральная пресса. Кому ж не приятно услышать правду про соседа?

Но то, что позволительно подчиненным, не могло быть прилично Бородину. И он сказал самокритично и строго:

— Не умеем, не умеем другой раз ценить, что нам дано. Не умеем ценить, не умеем по-хозяйски пользоваться.

Вот тут-то в образовавшейся паузе Андрей и сказал одну из тех цифр, которые они с Виктором приберегали про запас как главные аргументы:

— В целом по стране за один прошлый год ушло под строительство больше трехсот тысяч гектаров пахотных земель.

Сказал и почувствовал: не было услышано. Словно вдруг возникла вокруг него и распространилась пустота. И даже Виктор стоял с замкнутым выражением лица.

— Не умеем ценить, не умеем пользоваться.— Еще строже повторил Бородин.

— Вот об этом мы и думали, приступая к работе,— подхватил Виктор.— Это двигало нас. Новый микрорайон должен быть построен не на пахотных землях, со-

ставляющих бесценное народное достояние. Это принципиально важный вопрос, который я хотел подчеркнуть.

С того момента как спросил Бородин: «Так кто нам доложит?» — и дошло по цепочке до Анохина, и указка была ему вручена, что-то как будто переменялось. С привычкой обращаться не ко всем сразу и не всех видеть, а того, кому поручено доложить, Бородин, а за ним и остальные обращались теперь к Анохину как к старшему. Даже Немировский стоял в непривычной для себя роли: молча присутствовал.

Тем временем Виктор после длинного вступления перешел наконец к их проекту. Он говорил о сочетании зданий по горизонтали и вертикали, о том, что их микрорайон не будет распластным по земле и подземные коммуникации не будут растянуты. Это экономия. А для того чтобы сохранить примыкающий лес («легкие, которыми дышит город», сказал Виктор), они решили применить повышенную этажность и уплотненную застройку.

И еще Виктор сказал о музыке. Привел, как он сам называл это, доходчивый пример:

— Говорят, что строительство из типовых деталей не дает возможности нам, архитекторам, полностью раскрыть свои творческие возможности. Но вот пример «типового строительства»: музыка. В распоряжении композиторов всего семь нот. И при помощи все тех же семи нот, одинаковых во всех случаях, создана и великая музыка и то, что слушать невозможно. Значит, дело не в том, что типовые, а в том, как мы умеем пользоваться.

Виктор говорил волнуясь, и одобрение было полным.

— Вот! — сказал Бородин, назидательно поднял палец и оглянулся на всех. — Всего семь нот. А мы другой раз говорим... Молодежи бы это надо послушать.

Тут как раз в момент общего оживления вошел Смолеев. И получилось вдвойне удачно, потому что Бородин заставил повторить при нем про семь нот, в знак

одобрения говоря Виктору «ты». И Виктор скромно, всячески отстраняя не принадлежащий ему успех, повторил. Смолеев слушал, любезно улыбался. И знакомился, так же любезно улыбаясь.

Рослый, молодой еще, но с сильной проседью в курчавых волосах, он рядом с Бородиным, в его кабинете держался как приглашенный.

Александр Леонидович Немировский не упустил случая в такой аудитории блеснуть. Выждав момент, он рассказал об одной из гримас капиталистического Запада, с которой приходится сталкиваться архитекторам. В центре крупного города рядом с современными многоэтажными домами он сам видел старую деревянную разв'алюху, поражающую даже туристов. И никто — ни мэр, ни общественность, целый город — не может ничего поделать. Вынуждены терпеть это уродство, не могут застроить центр, потому что хозяин дома, видите ли, не желает продать участок.

Людам, привыкшим крупные вопросы решать по крупному, слушать это было дико. Да уж, порядочки!.. Многие качали головами.

Но когда Александр Леонидович вновь попытался обратить все внимание на себя, Виктор не дал себя прервать. Конфуз этот Андрей заметил уже задним числом: ай да Витька!

Потом им вновь жали руки, еще раз поздравляли и Александра Леонидовича Немировского и их двоих. И закреплялось, закреплялось радостными рукопожатиями то, что есть. И уже этого было не изменить.

## ГЛАВА V

А внизу, в прохладном от каменного пола огромном вестибюле, все так же сидел у столика милиционер, поставив ноги на деревянную подставку. Пожилой, со-

лидный, домовитый. Стол его покрыт обрезком зеленого сукна, толстое стекло сверху, бумажки по ранжиру разложены под стеклом, так что каждая перед глазами. И телефон по правую руку.

Когда входили сюда, милиционер беседовал с гардеробщицей, а она вязала на спицах за барьером. И сейчас они по-семейному беседовали, она вязала. Ничто не изменилось здесь. Только пахло в вестибюле щами: значит, пришло и прошло время обеда, вершина дня. Дальше день покатится с горочки.

Милиционер встал, отдал честь Немировскому, человеку уважаемому. И гардеробщица закивала. На уходящих вглубь рядах никелированных вешалок висело с краю несколько шляп, и она дежурила при них.

Преодолев сопротивление тугой пружины и тяжелой дубовой двери, окованной понизу медной пластиной, они вышли из сумрака вестибюля на режущий белый свет солнца.

Для большинства людей эти двери ничем не отличались от многих подобного рода: двери и двери. Но у Немировского столько было связано с ними. Как раз тогда чистили реку, случайно со всем мусором выволокли на берег мореный дуб, бог весть сколько пролежавший на дне. И Александра Леонидовича осенило: а что, если сделать двери из этого дуба? Как он потом жалел, что его осенило. Ведь даже ручки для дверей — а они сразу потребовались совсем особенные, мореный дуб диктовал и форму и массивность, — ручки эти несчастные едва не довели его до инфаркта, до разрыва сердца, как тогда еще говорили. Зато теперь, берясь за них рукой, он испытывал особое чувство общения.

Проходят годы, и каждый камень, положенный тобою, обрастает столькими воспоминаниями. Смотришь на него, а видишь все, что за ним стоит, что было тогда, когда его клали, что с этим связано. И уже все оно дорого на отдалении: ведь это часть твоей жизни.

Мы все торопим будущее. Едва начав что-либо, скорей хотим увидеть завершение. Но завершения нет, потому что оно же и начало. Да и мы сами приходим к завершению другими и смотрим иными глазами. Александр Леонидович с годами стал замечать особую над собой власть минувшего. Оно все больше и больше говорило ему. Будущее будет, минувшее не повторится,

Он шел рядом с людьми, перед которыми открылось будущее, которым он сам открыл его, но было ему как-то грустно. словно издали смотрел он сейчас на них и на себя.

Дубовая дверь из прохладного вестибюля отворилась с усилием в полуденный зной, в жару и сушь. Город отдаленно гудел, пахло бензином и асфальтом.

Вокруг площади на фонарных столбах в очередной раз меняли светильники. Ставили что-то приближающееся к современности: овальное и вытянутое.

Как только они трое появились под массивными колоннами на каменных ступенях, ожидавшая на другой стороне черная «Волга» выехала из ряда машин.

— А он проявил хорошее понимание обстановки.— Немировский ревниво оглядел Анохина.— Психолог. Откуда что взялось?

Виктор помаргивал.

— Я очень волновался. Не знаю даже, что наговорил.

— Да-да...— Покачивая в пальцах папочку, Немировский тонко улыбался, пожевывал губами: в них обкатывалась готовая шутка.— Ибо велик не тот, кто родит мысль, а кто сумеет прижить с ней детей.

И он сбежал вниз по ступеням к машине, которая, совершив круг, уже стояла внизу.

— Ну что же вы?

Они поблагодарили. Им хотелось вдвоем сейчас пройтись пешком по городу, поговорить.

— Слушай, старик ревнует,— сказал Андрей, взгля-

дом провожая черную «Волгу». — Ты заметил? Чего-то вдруг расстроился сразу.

— Нельзя, Андриюша, быть женихом на всех свадьбах одновременно. — Виктор говорил без всякой ученической скромности, строго и твердо. — Не он один.

— Ну, старика тоже не надо. Каков бы он ни был, но он сделал для нас. И вообще мне что-то сегодня жаль его.

— Вот-вот. Пусть привыкает.

— К чему привыкает?

Он не узнавал Витьку. Тон этот твердый, покровительственный.

— К чему старик должен привыкать?

Но Виктор вдруг опять стал прежним Витькой.

— Андриюша, ну его к черту! Сегодня наш день. Имеем мы, в конце концов, историческое право? Имеем, черт возьми?

Право они имели. И деньги тоже. И они зашагали по улице как люди, ясно увидевшие цель.

В те отдаленные времена, когда ни Ани ни Зины в их теперешнем значении не существовало, когда они вдвоем считали общую мелочь на ладони, в те времена любили они один бар. Душой его был Манукян, прозванный Великим. Он являлся из табачного облака с подносом в руках: десять кружек на подносе, над ними шапки вздрагивающей пены. Всю эту тяжесть — чуть ли не пуд весом — грохал на мраморную плиту стола; потный, задыхающийся, вытирал пальцы о полотенце, висевшее у него на животе. Пиво ли здесь бывало особенное, или оно было таким из его рук, но по вечерам бар был полон, и электрические лампочки под потолком меркли в дыму.

Теперь здесь кафе-молочная. Пустовато, прилично, прохладно. Почти все столики свободны. Но хорошо то, что пиво тоже бывает. И все остальное по вечерам, ибо план выполнять надо.

Повесив пиджаки на спинки стульев, сели, закурили. У огромного, от пола до потолка, окна молодая женщина кормила мороженым девочку с бантом. В квадрате света четкие силуэты обеих: большой и маленький. Женщина поджала перекрещенные ноги под стул, тупоносые туфли девочки качаются на весу, под ними блестит пол.

Свет, плоские блестящие поверхности, алюминий и пластик, невесомые столики, которые страшно задеть ногой,— красное, желтое, зеленое — недавно это еще воспринималось как ниспровержение основ. Но в химически-ярком пластиковом мире уже угадывалась будущая серийность, стандарт, ничуть не лучший оттого, что он современный.

Был такой школьных времен рассказ про сыровара. О том, как он делал сыр в подвале. И вода там сочилась по стенам, и плесень по углам, а сыр — замечательный, ни у кого такой не получался. Но вот разбогател сыровар, отделал подвал под масляную краску. Все теперь не хуже, чем у других, только сыр такой не получается. Оказалось, эта самая плесень и была ему необходима, в ней было его богатство.

Вот так теперь и в баре, где чисто, светло и много официанток в наколках. Сойдясь в круг у кассы, они живо делились новостями. Их было больше, чем посетителей в зале, но они знали правило: посетитель, он пождет.

Пришлось потревожить:

— Девоньки!

— Доченьки!

Когда принесли пиво, неожиданно выяснилось: есть раки. Это меняло картину. Не то чтобы Россия окончательно обеднела раками, но встретить в пивной раков или воблу, ту самую воблу, которую прежде ни за что не считали, встретить их в пивной — это была неслыханная удача.

— Знаешь что,— сказал Виктор,— десяток возьмем все же. Как считаешь? Но не засиживаться. Жены у нас строгие,— сказал он официантке.

Та по-свойски усмехнулась:

— Так уж вы напугались!

Но пошла поживей.

— Знать бы, приехать нам с женами. Завалились бы на целый вечерок, как свободные люди,— затосковал Виктор по упряжке.— Двадцатый век называется! Со спутниками разговариваем, а жене за сорок километров позвонить по телефону нельзя. Вот что: на всякий случай позвоню теще. Мол, заседание кончится не скоро, вопрос важный. По крайней мере, если наши позвонят оттуда, будут знать.

— С той почты легче пешком дойти, чем дозвониться.

— Это когда нужно. А когда вот так, как раз дозвоняется. По крайней мере, мы отметились.

Виктор тщательно вытер пальцы бумажной салфеткой, надел пиджак, застегнул на одну пуговицу, поправил очки и пошел между столиками, покачивая плечами. Шел человек, знающий себе цену, умеющий держаться под взглядами людей. Виктор Петрович Анохин. Витька.

В сущности, все страшно быстро происходит. Гораздо быстрее, чем думалось лет пятнадцать назад. Уже их дети говорят по-английски, не успеешь оглянуться — школу кончат. А он вот так иногда увидит и изумится: неужели это его дети такие огромные? Неужели это с ним так быстро все произошло? А что удивляться, если подумать? Ведь им с Витькой по сорок. В эту пору сыновей женят, дочерей замуж отдают. Но их поколение позже начинало жить. И женились позже, и дети позже родились. Как раз на те четыре с лишним года, которые взяла война.

Виктор вернулся от телефона повеселевший:

— Еще Фридрих Великий говорил: солдат должен бояться своего начальника больше, чем неприятеля.

— Фридрих не нашего министерства. А вот что теща сказала?

— Теща сказала: «Ну, дай Христос!» И еще она сказала: «Виктор... Только вы там с Андреем глядите!..» Из чего можно заключить, что она в вопросах архитектуры разбирается.

С тем Виктор снял пиджак, теперь уже надолго.

— Ну, Андрюша, сегодня мы имеем право.— Он смотрел на Андрея влюбленными глазами, а кружку пива держал на весу.— Мы знаем за что.

Пиво было холодное, светлое, они выпили его одним духом, и даже дышать стало легче. Огромные раки, темно-красные, с черной окаемкой, лежали на тарелке, свесив мокрые клешни на стол. В пустых кружках, шипя, оседала пена. А они курили, откинувшись на спинки стульев. Это был лучший момент: все только впереди.

— Да-а, завидует нам старик.— Остро заблестевшими глазами Виктор сощурился в свои мысли.

— А чего нам, в сущности, завидовать?

— Чего?

Виктор быстро взглянул на него. Но сдержался. То, о чем думал в этот момент, оставил в себе. Взялся за кружку.

— Выпьем, Андрюша.— Задумался на миг, опять хотел что-то сказать, но опять удержался.— Ладно, без сантиментов.

В общем, он чувствовал к Андрею нежность. А тот говорил тем временем:

— Гордость его уже в другом. Он мэтр.

— Думаешь?

— И думать нечего.

— А не роль?

— Так в жизни кто не играет роли? Это редко кто остается самим собой. Таких единицы. А большинство

надевает на себя роль. Он сегодня ввел своих, так сказать, учеников. Вывел на орбиту.

Но тут Виктор опять заговорил непримиримо, не желая признавать:

— Вывели мы себя сами и не будем забывать этого. А то много, знаешь, окажется...

Этой черты Андрей не знал в нем прежде.

— Ви-итька!

— Он придал нам некоторое ускорение, этого не отнимешь. Но ускорение оказалось большим, чем он ожидал. Этого, Андрюша, не любит никто. Вот он и мастистый, и уважаемый, и обожаемый, но архитектор строить должен. А что он делает? Заседает последние двадцать — тридцать лет. Архитектора судят не по речам с трибуны. Да, не по речам!

Крупными пальцами он разломил рака, обиженно всосался в спинку, где была желтая икра. И вдруг Андрей понял: это старику отдавалось за его пристрастие к афоризмам: «Один родит мысль, другой приживает с ней детей...» Андрей захохотал. Долго же до него шло, долго доходило. Но неужели все дело в этом?

— Ты чего? — спрашивал Виктор, видя, как он хохочет. И оглядывал себя. — Чего ты?

Андрей ладонью вытер слезы, мокрыми глазами смотрел на него. Мысль, конечно, не Витькина, старик это знает, он ведь на всех этапах присутствовал. Но вот в чем он не прав: с такой мыслью детей не приживешь. И уж завидовать им, конечно, нечего. Устарела она лет на двадцать, если не на все двадцать пять. Сегодня он это так ясно чувствовал! Когда ругают, тут злость в тебе, отстаивать можешь. А вот когда чествуют, а ты знаешь, какова всему этому цена...

— Слушай, тебе не стыдно было сегодня? Ну зачем ты ввернул про эти семь нот?

Виктор сморгнул испуганно и заморгал, заморгал.

— Хотелось доходчивый пример...

— А потом нам же и скажут: построй чудо из шести палок. Вот так добиваемся сами себе.

— Считаешь, плохо я говорил?

И такой у Виктора был жалкий вид, что Андрею расхотелось укорять его.

— Да нет, нет. Ты как раз произвел впечатление. Но, Витя, не это главное. Я все удивлялся: отчего радости нет? Спешили, выбривались, волновались... Вот он, звездный час! А радости нет. Перегорело, что ли? Это, рассказывают, Форд приезжал. Подали ему на аэродром лучшую нашу машину, сел он: «Ну вот. Чувствую, помолодел на двадцать лет». Так и наш микрорайон. Чего уж там, мы-то понимаем... То все боялись: не примут, не будут строить. Приняли. Витя, если по-честному, так вот сейчас нам самое время сказать: давайте мы все заново. Это же вчерашний день архитектуры. Зачем? Ах, что можно построить!

Виктор смотрел на него с испугом.

— Ты не гляди на меня как на сумасшедшего. Что ты мне скажешь, я знаю. Но ведь это же правильно: врач похоронит свою ошибку, а тут полвека будет стоять.

Виктор заговорил горячо:

— Андрюша, ты прав. Тысячу раз прав! Мы еще построим с тобой.

— Можно построить.— Андрей сказал глухо и глядел незрячими глазами.

— А то все: Нимейер! Мис ван дэр Роз! Мис, Мис... А что Мис, если уж так уж разобраться.

— Мис? — Андрей словно проснулся, услышав.— Мис — гений. Даже ошибаться, как он, и то надо быть гением.

— Нам бы его условия! Когда ему все было дано...

— Слушай, ты понимаешь, какая возможность содалась? Витька, нельзя упустить. Мы сейчас можем продиктовать условия.

Вот тут Виктор действительно испугался.

— Андрюша, можно, можно. Но — нельзя! Сейчас пока еще нельзя.

— Чего нельзя? Чего нельзя?

— Что ты, разве можно откладывать, когда такой успех! Ковать, ковать, пока горячо. Потеряют интерес — не достучишься потом. Да мало ли что!

— Это я понимаю.

— А после мы построим. Давай дадим себе слово. Дадим слово и будем помнить. Но сейчас важнее всего занять командные посты. Мы имеем на это право, черт возьми! Даже если сначала хотя бы один из нас...

— Я бы там сказал. Хотел сказать, да это ведь и твоя судьба.

— Правильно, Андрюша. Еще будет у нас возможность. Тогда мы продиктуем условия, ты прав. Но не сейчас.

Подошла официантка:

— Ну что, мальчики, повторить?

— Надюша! — сказал Виктор прочувствованно.

— С утра была Зина.

— Фантастика! И у меня жена — Зина!

Официантка вкруговую загадочно повела глазами, рассмеялась тем испытанным смехом, от которого разве что мертвый не пробудится или уж совсем старый, совсем какой-нибудь никудышный мужчина.

Опытным взглядом она сразу разглядела то главное, что отличало этих двоих от остальных людей в зале. Тут даже не в деньгах дело, хоть денежных людей она умела с маху замечать. От них, сидевших в свежих белых рубашках, в выглаженных брюках, куривших сдержанно, от них веяло удачей. Они были на гребне какой-то своей волны, это она поняла безошибочно.

Собрав пустые панцири раков, скомканные бумажные салфетки, она запустила пальцы в мокрые пивные

кружки, глухо звякнувшие друг о друга, поставила их на поднос.

— Еще по одной?

— А давай выпьем, что ли? — сказал Андрей.

— А? Да! — решился Виктор. — Зиночка, в ваших руках жизнь двух людей, которые хотят есть. Все остальное вы слышали. Не накормите — помрем.

— Таких случаев у нас еще не отмечалось.

— Будет. И вот этими... — Виктор хотел сказать «ручками», но осекся несколько, увидев в пивных кружках Зинины растопыренные пальцы с ярким маникюром. — Вот этими руками поухаживайте за нами, как вы поухаживали бы за собственным мужем.

— Пожалуй, не схочете. Я б его березовым веником накормила, да поперек спины.

— Веник отменяется!

Тут они вдвоем углубились в чтение и обсуждение меню, а Андрей сидел курил.

— Сержант в тебе, Витька, пропадает, — сказал он, когда Зина подносом вперед шла к кассе, покачивая мощными бедрами. — Строевой армейский сержант. Ты с ней говорил, едва каблуками не щелкал.

— Сержант сидит в каждом из нас. Из армии демобилизуются, но не уходят, — сказал Виктор значительно.

— Это ты спутал. Это не из армии...

Андрей увидел, что стол, за которым сидели женщина и девочка, уже вытирали тряпкой; он и не заметил, как они ушли. Две металлические вазочки от мороженого, темные против света, стояли на углу мокрой, блестящей плоскости стола.

Неожиданно он увидел обеих за окном. Они проходили по тротуару. Мать вела за руку девочку, девочка несла бант над головой. Ее маленькие, носками внутрь ножки семенили рядом с высокими, медленно переступавшими стройными ногами женщины. Молодой женщины. Он смотрел им вслед. Нет ничего красивей на

свете: молодая женщина и девочка рядом с ней. Будущая женщина.

Вернулась Зина с подносом перед грудью. И среди закусок, украшенных листиками и зеленью, возвышалась бутылка «столичной», прозрачная на свет.

В полной тишине Зина расставляла тарелки, клала вилки, ножи, тихо звякавшие о пластик. Соответственно возможностям мужчин ставила перед каждым не рюмку, а стопку. И все сделав и бутылку откупорив, задала единственный, не лишенный изящества вопрос:

— Сами разлить сумеете?

— Разольем, Зиночка, ни единой капли не расплещаем.

Но прежде чем уйти, Зина еще раз оглядела стол, уже взглядом художника.

Виктор поднял стопку:

— Андрюша, сегодня у нас особенный день. Все-таки он особенный...

— То-то и жаль.

— Я понимаю тебя, но ты же понимаешь...

— Все мы понимаем, в этом и беда наша, что такие мы понятливые. Еще и подумать не успели, а уже понимаем.

— Андрюша, время работает на нас. Давай, выражаясь фигурально, за то, чтобы везло нам и дальше. Чтобы ехалось легко...

— Чтоб у нас, у дураков, хватило ума сойти вовремя. А то такие мы умные, так раньше времени понимаем... И духу чтоб хватило.

Со стопкой в пальцах, волнуясь, Виктор смотрел перед собой остро блестящими глазами. В нем, как всегда, от мысли зажглась своя мысль.

— Давай, Андрюша,— сказал он, додумав до конца, и потрянул головой.— Это ты хорошо сказал: вовремя сойти.

А часа полтора спустя они сидели за тем же столиком, громко разговаривая и смеясь. Зал был уже полон, зажглись огни, и кафе с огромными, до земли, окнами светилось изнутри, как аквариум, за толстыми стеклами которого проходили по тротуару, стояли люди. Потом вдоль окон пошла официантка с краем тяжелой репсовой гардины в руке и отделила улицу. Стало уютно, глухо, и сейчас же ударил оркестр. Андрей обернулся. На крошечной эстраде четверо нестриженных парней в разномастных пиджаках стоя дули в блестящие трубы, а ударник, играя плечами, локтями, глазами, подкидывая палочки в воздух и ловя, управлялся один с великим множеством сверкающих тарелочек. Грохот маленького оркестра заглушил голоса. Люди теперь кричали друг другу, сближаясь лицами. И Андрей и Виктор тоже кричали.

— Хорошо! — Виктор оглянулся. — Высотный дом в Москве на Смоленской площади красив или некрасив?

— Нет!

— Это он для нас, для современников, некрасив.

— Для кого как.

— Потому что мы знаем. А сменятся поколения — и вратет. Вратет! Вратет! Станет больше чем красив. Москву уже не представишь без него.

— Все, что было, станет мило?

— Иным он и быть не мог.

— Он всегда будет уродлив. Эти парадные двери как врата. Человек перед ними крошечный. Эти каменные столбы как стража с бердышами. И когда закладывалось!

— Забудется!

— Нет, не забудется.

— Кто помнит, Андрюша? Кто связывает одно с другим? Это интеллигенция куска в рот не положит, чтоб не облить слезами сожаления. Ест и жалеет, ест и жалеет. Но ест! Вот в чем дело: ест. И каждый, если поста-

вят перед ним, будет есть. Люди забываются, а здания стоят.

— Не забывается и не исчезает бесследно. Есть еще и генетическая память.

— Мы с тобой сдавали: никаких генов нет.

— Вот-вот.

— Чистейший вейсманизм-морганизм и прочий менделизм.

— Мы и не то отменяли.

— Андрю-ша! Миллионы со всего света ездят глядеть древние развалины: «Ах, хорошо! Ах, красота!» А во что эта красота людям встала, сколько там полегло, кому какое дело?

— Так ты и дальше хочешь?

— Мы с тобой не хотим. Но, Андрюша, что зависит от нашего хотения? Вот именно, что? А безымянным,— он потыкал пальцем вниз, под стол—нет, не хочется, знаешь ли.

Белая рубашка на нем промокла под мышками, и круги выходили дальше на грудь. Скомканным в кулаке платком Виктор вытер блестящий лоб. Сказал вдруг:

— А помощник Бородина — хитрован. Чмаринов Борис Ксенофонович. Хитрова-ан! Левое ухо рваное видал?

— На черта мне его ухо?

— Не скажи.— Виктор подмигнул с превосходством.— Вот так сшито поперек, и кусочка сверху недостает. Старый волк! Жизнь знает лучше нас с тобой. Да-а...

Сняв запотевшие очки, Виктор щурился на грань стопки. Мыслью был он сейчас не здесь. Мыслью он сейчас был там, где уже бывал не однажды, но куда сегодня перед ним открылись двери. Ведь могли не их, а чью-то другую судьбу поставить на рельсы, и покати-лась бы с легкостью... Но вслух ронял только тягучее «да-а».

— Давай, Андрюша, вот за что.— Протерев, Виктор надел очки, глаза в первый миг оставались незрячие, как после яркого света.— Кто-то сказал: дружба — это лодка, в которую в хорошую погоду вмещаются двое, а в бурю только один. За нашу с тобой лодку, Андрюша! Чтoб в ней всегда было место для двоих.

И смотрел влюбленными глазами.

До войны был у Андрея школьный друг Валька. Он погиб в сорок втором. А все, что выпало после войны, они прошли с Виктором вместе. Больше друзей уже не будет. Если судьба не дала друга до сорока лет, за этим рубежом заводить поздно.

— Давай за лодку, Витя! Давай за лодку!

Как раз в этот момент оркестр смолк, стыдливо смолкали запоздалые голоса. Их тост раздался так, что от соседнего столика обернулся парень в спортивной кожаной куртке.

— Лодку, что ль, покупаете?

— Ну да, лодку,— сказал Андрей.

— Уважаю. Моторную?

— Двадцатый век!

— Уважаю. Бывай здоров!

Он повернулся к ним заскрипевшей кожаной спиной, опрокинул в рот стопку.

— И зачем им лодка, когда вот она водка,— мимо проходя, улыбалась Зина.— На ней дальше поплывешь.

Двумя пальцами за горлышко она словно нечаянно составила с подноса к ним на стол новую бутылку.

— Ну что за Зиночка! — вскричал Виктор.— Все понимает! И закуску тоже.— Тут он в целях конспирации спрятал под стол пустую бутылку, будто ее и не было совсем.— Что-нибудь, Зиночка, эфемерное такое. Можно нам что-нибудь такое обеспечить?

— Вам я могу обеспечить все.— Зина ясно улыбалась.

— Ну Зина, ну что за Зина! — вскричал Виктор, несколько увянув.

— Мужчин надо прежде всего кормить, — сказал Андрей, — поэтому для начала...

— Сосиски с капустой.

— Их еще на комбинате мясом набивают.

— Не будем тревожить, пусть перевыполняют план, — сказал Андрей. — А бифштекс, случайно, еще не на четырех ногах? Впрочем, мы и на яичницу согласны.

Зина смотрела, улыбалась.

— Жены-то небось молятся на вас?

И пошла, повлекла за собой взгляды. И Виктора и парня в кожаной куртке. Тот до тех пор поворачивал голову, пока на покрасневшей шее позволяли напрягшиеся связки мускулов.

— Уважаю, — сказал он потрясенно. И потянулся к сигарете Андрея: — Друг, дай огоньку!

Широкие плиты его скул блестели, черные глаза косили нетрезво. Он пыхнул сигаретой.

— Спасибо, друг.

Опять заиграл оркестр. Люди что-то беззвучно говорили, сближая головы над столиками, подымали кружки, чокались рюмками, и глаза сквозь дым сигарет и лица сияли одним общим выражением. Во всех в них — и в молодых и в старых — был интерес собравшейся вместе мужской компании.

То Андрей, то Виктор, взглянув на часы, начинали торопиться. И опять оставались на месте.

— Главное, не поверят, что мы ведь правда торопимся, вот что обидно, — огорчился Виктор.

— Не поверят, Витя, лучше не объяснять. Не поймут.

И поражались, что водка не берет их. Слабая она, что ли? Только душно становилось, через силу душно,

и Виктор скомканным влажным платком то и дело утирал лицо.

Люди входили с улицы, отряхивались. Платками вытирали волосы, рубашки у многих были мокры. И уже не только дым, а как будто пар стоял под потолком, окутывая плафоны. Люди за столиками все время менялись, уходили, новые садились на их место, но не менялась обстановка единой мужской компании.

На какое-то время Андрей остался один. Обернувшись на стуле, оглядывал зал. В самом конце, на освещенной эстраде, стояла у микрофона певица, вся блестящая. Черное, в блесках шелковое платье ее лоснилось и вспыхивало под электричеством на груди и на животе, руки были голы, накрашенный рот улыбался, и только голоса не было слышно, словно выключили звук.

Вернулся Виктор с мокрыми зачесанными волосами, потрезвевший. Они расплатились, встали. И еще до дверей не дошли, а за их столиком уже рассаживалась оживленно целая компания.

Пока они сидели в дыму и зашторенной духоте, над городом разразилась гроза. И весь он с вечерними огнями отражался сейчас в мокром асфальте. Потоки мутной, кофейного цвета дождевой воды мчались под фонарями у края тротуара, с шумом всасывались канализационными решетками, окна домов были распахнуты, и так дышалось сейчас после дождя и прогремевшей грозы!

В мятых белых рубашках, перекинув через руку пиджаки, всем потным телом ощущая эту благодать, они стояли, дышали и поражались. А из дверей, из которых они только что вышли, как из духовки, валило тепло, табачный дым и запах жареного.

Весь город был сейчас на улице. Блеск огней, голоса,

шум дождевой воды, сигналы машин, шаркающий звук подошв по асфальту — все это в одном потоке двигалось, обтекая их. И они тоже шли, дыша легким после грозы воздухом.

И столько было вокруг молодых женщин в летних платьях. Ветер обвевал их голые руки, открытые шеи. И свет на лицах, и особенный блеск глаз.

— Нет, ты смотри! — поражался Андрей. — Когда они родились? Когда они все вырасти успели? Витя, это же крайне обидно. Как будто уже нет нас. А мы все-таки есть, мы не только были.

На них обернулись, блеснули глазки, сразу несколько пар. Боже ты мой! Нет, жизнь прекрасна.

— Андрюша, мы есть и будем. И в этом своя историческая справедливость!

Тут Виктору вдруг захотелось, и непременно сейчас, ехать туда, где «будет город заложен». И ничего кроме он слушать не хотел, и шофера такси слушать не хотел, и кончилось тем, что они поехали.

В темноте взбирались по откосу, по мокрой траве, среди мокрых сосен. Взобрались. Внизу шумел, блеснул город.

— Здесь будет город заложен! — Виктор топнул ботинком. — Понимаешь, Андрюша, здесь люди родятся, будут жить... И никто не узнает, что в начале всего стояли здесь мы двое. Но мы знаем. И с нас довольно. Потому что мы — знаем!

И еще ему хотелось непременно здесь дать клятву. Андрей смеялся:

— Ты что, Герцен? Или Огарев?

— А что Герцен? Что Огарев? Привыкли: Огарев, Огарев... А что уж Огарев, если уж разобраться?

Шумели сосны, отвесно стояло небо, все в ярких звездах после дождя. Внизу был город. А они двое стояли здесь, на своей вершине.

## ГЛАВА VI

Следующее утро, которое по пословице вечера мудренее, началось в посте и покаянии. Аня молчала, вопросы детей раздавались в пустоте.

— А мы пойдем на речку?

— Я думаю, мы пойдем на речку? — подхватывал Андрей несколько лебезящим голосом.

— Еще на лодке обещали покататься... Все только обещаете...

— Действительно, мы ведь обещали. Я совершенно из виду упустил.

— Ты, к сожалению, ничего не упустил из виду. Ничего из того, что стояло у тебя перед глазами...

— Да, ты совершенно права... То есть, наоборот, я хочу сказать, что у тебя не совсем точная информация в этом смысле.

А про себя подумал: «Вот у Витьки сейчас творится!..» От него хоть требовалось покаяние внешнее, а от Витьки будут добиваться осознания в душе.

В первый год семейной жизни Андрей все пытался доказывать свою правоту, как будто в ссоре бывают правые. Поистине молодой муж подобен новобранцу: не понимает, что не тот виноват, кто повторяет «виноват!», а кто оправдывается.

Тем временем Митя подводил грустные итоги:

— Рыбу ловить не пошли... На лодке не покатаемся... Лучше б не обещали.

— А правда, детонька! Возьмем с собой продуктов, соль, спички, где-нибудь на острове разожжем костер... Честное слово, а? И тебе за нами не ухаживать. Сварим уху...

— Мамочка, давайте! — Митя вскочил из-за стола. — Я нож с собой возьму, фляжку с водой!

Вот тут Машенька, маленькая миротворица, подошла к ним, стала посредине:

— Давайте не ссориться. Ну почему мы ссоримся? Давайте жить мирно.

И целовала голую материну руку, а ладошкой своей теплой гладила отца по небритой с утра щеке, как будто примирение обещала.

— Идите во двор! — крикнула на детей Аня: у нее слезы выступили на глаза.

Андрей обнял ее и, хоть отворачивалась, поцеловал в висок.

— Дети умней нас. Ну хватит, чего там... Поругала мужика своего — и хватит. Это ж такой день. Мы с Витькой хоть и подкаблучники, а все же некогда мужчинами были. Вот и просыпается поработенный дух раз в пятилетку. Время такое: вся Черная Африка скинула иго, Азия бурлит.— Он опять поцеловал ее в висок.— Ты у меня умница.

— «У меня...» Правда что Азия в тебе бурлит.— Она вытерла щеки ладонью.— Ладно, давай устроим детям праздник. Они уж, во всяком случае, ни в чем не виноваты.

Андрей быстро побрился, замаливая грех, сунулся было мыть посуду, но не был допущен: излишней суетливости от него не требовалось. Собрали кошелку и по дороге на речку зашли за Анохиными: Виктора выручать. Пока жены разговаривали между собой в доме, Виктор и Андрей курили во дворе.

— Ну как, брат, раскаялся? Прощен?

— Да нет, понимаешь, не в том дело... Зинушка нервная очень стала. С нервами у нее последнее время... Другой раз ничего особенного, а на нее вдруг так подействует.— У Виктора даже стекла очков блестели жалобно: то ли от раскаяния, то ли от тоски.— Когда дети, знаешь, в самом деле нехорошо. Привыкнет дочь встречать отца в таком виде, а потом к ней самой вот так муж явится. Хочешь, чтоб он ее уважал, относись к матери с уважением...

— Отличник! Урок выучил на пятерку.

— Да нет, понимаешь...— Виктор опасливо взглянул на окна, откуда раздавался накаленный Зинин голос: «Аня, не знаешь ты их, Аня-а!..» — Ужасно нервная.

— У тебя одна дочь, а у меня и дочь и сын. Тут как быть? Положение по тому анекдоту: «Как ваша дочь замуж вышла?» — «Великолепно! Она еще в постели, он ей кофе подает». — «А как сын женился?» — «Не говорите, ужасно! Она еще в постели, он ей кофе подает...»

— Да,— сказал Виктор, не слыша и не слушая.— Да, да...

Андрей потянулся, скосив на него смеющийся глаз, хрустнул пальцами за спиной. Был он в стиранных джинсах с никелевой пряжкой на животе, в расстегнутой ковбойке и тапочках на босу ногу. Утреннее солнце, хоть и не жаркое еще, пекло похмельную голову. Кваску бы сейчас холодного из погреба.

— Слушай,— сказал он,— у Леши бредень есть. Не даст он нам?

— Бредень? — Виктор глянул на окна, не зная, как поступить.

— Что командование решит, до нашего сведения доведут, а солдат службу знает.

Они обошли дом, пригибаясь под развешанным на веревках, хлопающим от ветра ситцевым бельем. Надутые наволочки были как подушки. Распугав на заднем дворе кур, вошли в коровник. С улицы показалось темно внутри. Хозяин, Леша, в резиновых сапогах вычищал навоз, соскребая лопатой с мокрых досок. Он поставил лопату к стене, осторожно взял испачканными пальцами сигарету из протянутой пачки, потянулся прикуривать.

— Бредешок-то есть. Вон на потолке валяется не по назначению. Ловить чего будете? Ей и так здесь, рыбы, не было, скрозь истребили, а как летошний год плотину прорвало, последняя ушла.

Леша в большом раздумье сбивал мизинцем пепел с сигареты. Томимый субботним настроением, он и навозом-то занялся с утра не по доброй воле. Охотней пошел бы рыбу ловить, если б кто пригласил. Там поймают не поймают — «основной вопрос», как говорил он в таких случаях, «не в рыбу уперся...». Но Андрей и Виктор сами еще не были прощены, к тому же собирались с детьми, с женами и предпочли не понять.

— Да мы такие рыбаки, если только сама какая-нибудь в бредень заскочит с перепугу, — стыдливо засмеялся Виктор. — А на себя мы не надеемся.

— Ну да, ну да... — Леша был мужик сообразительный. — Тогда конечно.

Носком сапога он вдавил сигарету в навозную жижу и, припадая на левую ногу, похромал к дому.

Мальчишкой играл он с пацанами под берегом, и раскопали в песке поржавевшую гранату времен войны. Двоих тут же положило наповал, а Леше в нескольких местах перебило ногу и крошечным осколком веко расколо; с тех пор и помаргивал он не в лад.

Когда после прибыла саперная часть, нашли на дне реки, затянутые илом и песком, немецкие снаряды и мины общим числом больше сотни. Но основной склад обнаружился в деревне. В каждом доме была своя противотанковая мина, у запасливых хозяек по несколько штук. Стали отбирать — прячут так, что с миноискателем не найдешь. И не сразу в голову пришло саперам, что, помимо своего основного назначения, противотанковая мина может служить еще гнетом для капусты: «Тяжелая, круглая, как раз по размеру входит в кадушку. Ты найди мне такой подходящий гнет, тогда отдам...» Пробовали припугнуть — не пугаются: «Сколько лет солим — не взрывалась, чего это она вдруг взорвется?» Пришлось саперам выменивать мины прямо-таки поштучно.

Со временем срослась у Леша нога неровно, вышла короче другой, колено не сгибалось. Из-за нее он и в армии не служил и в деревне остался чуть ли не единственным из сверстников. Зато женился рано и в двадцать четыре года, к изумлению своему, был уже отцом четверых детей, старший из которых, как все вокруг, звал его Лешей.

По приставной лестнице боком-скоком Леша взобрался на чердак и вскоре вылез оттуда со скатанным бреднем. В ячейках его застряла тина. Пересушенная на чердаке, она крошилась в пыль, пахло от бредня едва внятной рыбой и рекой: давно Леша рыбачил.

Наконец вышли из дома женщины.

— Здравствуй, Андрей...

Голос Зины сугубо холоден. Мужа она вообще не заметила: ни его самого, ни его робкого движения взять у нее из руки кошелку. Пошла вперед, как бы единолично неся всю тяжесть их совместной жизни. Но Аня подмигнула Виктору: прощен, прощен, можешь надеяться.

— Драсьте...— материным голосом поздоровалась Мила. И тоже не заметила провинившегося отца: натаскивается для жизни. А где-то пареньек растет, дурак, всего предстоящего не ведая. Мордашка, если поглядеть, недурная, научится со временем по-французски. (По-английски уже умеет: теперь этому учат если не каждую, так через одну.) И пропал, пропал пареньек.

Четырнадцать лет назад вместе с Виктором, с бутылкой шампанского и горшком цветов, которые еле раздобыли в городе, заваленном снегом, подкатили они на такси на Колодезную, под горой, где у Зининых родителей жили молодые. И Зина, почти девчонка еще, покраснев от смущения ли, от гордости, вынула из коляски, придвинутой к печи, нечто маленькое, безбровое, в массе наглаженных кружев. Это «нечто» в голубом одеяле (ждали мальчика), перепоясанное розовой лентой, была Мила.

В соломенной шляпке с широкими полями Мила шла впереди, ведя за руку Машеньку в белых трусиках с кармашком. Пушистая коса щекотала ей спину между лопаток.

Шли напрямик через огороды, луг, на котором паслись индивидуальные козы и несколько телят, привязанных за веревку. Впереди за осокой слышны были голоса, плеск, и двигались, возникая в просветах, головы людей, плывущих в лодке. И кочки на лугу пружинили под ногами.

Пока отмыкали лодки, каждая из которых ржавой цепью примкнута к ветле, вычерпывали воду консервной банкой, дети полезли купаться. Голых и мокрых детенышей своих Андрей одного за другим втащил через борт в качающуюся лодку. Митя тут же вызвался грести. В худых его руках весла вырывались из воды, смоленая плоскодонка дергалась из стороны в сторону. Но уже прорезывался характер у мальчишки: хоть и выбился из сил, а весла не отдает. Аня, сидевшая с кошелкой на коленях, не могла видеть эти огромные весла и эти худые руки — откуда там силам взяться? Но Андрей курил, посмеиваясь: ничего, мальчишка должен быть мальчишкой.

Впереди на блестящем зеркале воды чернела против солнца другая плоскодонка. Два силуэта в шляпках на корме, низко осевшей в воду, взмахивающие по сторонам мокрые весла. Виктор греб ровно и мощно, от лодки к берегам расходились буруны.

Часа через два горел на песке костер, и в закопченном ведре варилась уха. Они обшарили все побережье, и каждый раз, когда подтягивали бредень к берегу, дети кидались в воду, кричали, месили воду ногами, били по воде. Женщины с полиэтиленовыми мешочками, в которых уже плавало в воде, толкалось в прозрачные

стенки несколько рыбешек, давали с берега руководящие указания. Продрогшие до гусиной кожи Виктор и Андрей заходили снова.

Общими усилиями семерых человек, из которых четверо с высшим образованием, поймали десятка два пескариков, глупого щуренка, по жадности сунувшегося в бредень, да несколько плотвичек и полосатых окунчиков. Но все же в ведре варилась уха. Варил ее Виктор, считавший себя специалистом. Под его рыбацкие рассказы про тройную уху со стерлядочкой Андрей задремывал, и просыпался, и задремывал вновь, лежа лицом к солнцу. Когда перевернулся на живот, открыл глаза, река в первый миг показалась черной, песок — белым, как соль.

Весь освещенный солнцем, мускулистый, по щиколотки уйдя ногами в песок, Виктор в красных плавках помешивал прутиком в ведре. Очки он снял и щурился над паром. А дети стояли вокруг животами к огню.

Когда-то их с Витькой было двое. Потом с Аней и Зиной — четверо. Теперь — семеро.

Виктор на прутике достал из пара разваренную плотвичку с белыми от кипятка глазами.

— Разве это рыба? Если по правилам, так ее не варить, а выбросить.

И с великим презрением опустил плотвичку обратно в ведро.

Говорят, есть срок всему: и удаче, и уму, и силе. Вчера у них с Витькой был тот день, от которого начинается новый отсчет времени. Он видел вчера в приемной, какими влюбленными глазами смотрели на них незнакомые люди.

Успех — как мода. Кто вчера знать тебя не хотел, сегодня спешит отметиться, от других не отстать. Ну что же, это все в дело годится. Вот, может быть, теперь им удастся сказать свое слово в архитектуре. У других по-

колений этот день приходил раньше. Да, видно, каждому поколению свое.

Их первым костюмом — и повседневным, и походным, и парадным — была гимнастерка, единая во все времена года. А единственным делом, которое они успели закончить к двадцати двум годам, была война. Теперь их дети изучают ее в школе в общих чертах и в главных датах. Как они когда-то проходили в школе первую империалистическую или гражданскую войну, от которой в памяти оставался только Чапаев и оборона Царицына. Войны всегда отодвигаются другими войнами, еще более страшными.

Он смотрел на детей. Босые, они стояли на песке вокруг костра. Когда дети стоят вот так, голыми животами к огню, кажется, не было минувших тысячелетий, а есть только вечное небо, и вечно течет река, и вечно горит костер... Но для тех, времен детства человечества, огонь был жизнью. Для его детей это игра. Они затопчут его, засыпят песком, уходя. Они родились в мире, где давно уже все покорилося человеку. Они даже не подозревают, насколько они могущественны с детства. И все могущество, каким и господь бог не владел, в руках человека, впервые потерявшего право на ошибку.

Под радостные крики детей Виктор снял с огня ведро, соляное от копоти, дымящееся.

— Папа! Папа! Глядите, папа заснул! — кричали дети.

Андрей встал, потягиваясь. Прилипший к телу песок осыпался.

— Неужели правда спал? — удивилась Аня.

В черном купальнике она сидела на краю расстеленного коврика, повернув к нему голову. Блестящие на солнце волосы скототы на затылке тяжелым узлом, загорелые плечи золотятся. Красивая у него жена. И лицо такое хорошее, такое человеческое. Она увидела себя

в его глазах, какой он видел ее сейчас, и улыбнулась ему.

— Солдат спит, а служба идет,— сказал Виктор, держа горячее ведро на весу: он искал место, куда его поставить, искал центр.

Зина откинула полотенце, которым от солнца и мух была прикрыта еда. Красная редиска, огурцы, зеленый лук с маленькими белыми головками— все еще мокрое от воды, свежее.

— Товарищи, товарищи, к столу! — сзывала Зина, словно собирала сотрудников.— Андрей, дети... Давайте, товарищи...

— Андрей, пойди к тому кусту и достань из воды что ты там спрятал.— Аня сказала это холодно.

Не задавая лишних вопросов, Андрей при общем нарастающем любопытстве пошел туда, куда ему было указано. Он опустил на колени и достал из воды две большие бутылки молока. А потом под восхищенный взглас Виктора: «Ну, ты даешь!..» — одну за другой вынул три бутылки пива. Холодные, с них капало.

— Аня! Ой, Аня-а!.. — тем самым голосом, каким ее мать в подобных случаях говорила, пропела Зина.— Не знаешь ты их, Аня!

— Дети! — торжественно сказал Андрей.— Если вас спросят, кто великий человек, говорите: «Наша мама!» Великая и великодушная!

Сушился распятый на кустах бредень. Чуть дымил догоревший костер. Остатки еды бросили рыбам, в малой степени возместив природе взятое у нее.

— Нет, вы чувствуете, воздух какой! — изумлялся повеселевший Виктор. Он сидел на песке, поджав босые ноги.— Вот дышишь — и не надышишься.

И по мужской логике тотчас зажег сигарету, чтобы вдыхать в легкие не этот речной воздух, а табачный дым. Андрей тоже сказал что-то о воздухе и закурил,

глядя на бегущую воду. Женщины тут правильно заметили: «Зачем же вы курите, а не дышите воздухом?» Мужчины покаянно согласились, с удовольствием сознавая, что это все же хорошо, когда в жизни есть правила, иначе не так приятно было бы их нарушать.

— Ну ведь вредно курить? — добивалась ясности Зина. — Ведь вот пишут в газетах, сколько умирает от рака...

— А знаешь, сколько некурящих умирает?

— Ну, я, конечно, не знаю так точно...

— Сто процентов.

— Нет, ты меня не путай, Андрей. Курящих все-таки умирает больше.

— Тоже сто процентов.

— Как это?.. Подожди... Зачем же тогда в газетах... — Анекдот доходил медленно. — Ну тебя совсем! — Зина рукой на него махнула. — Я думала, он серьезно. Ты пользуешься, что я несильна в математике.

— Зиночка, вредно не табак курить, не водку пить — вредно на свете жить. И что-то никто от этой вредной привычки не отвыкает добровольно.

Тут еще несколько послеобеденных мыслей о вреде табака было подброшено в затухавший костер дискуссии. Аня рассказала кстати, как позавчера вечером пошли они с детьми в лес, и вечер был чудный: сыро, туман... Только в лес вошли, как он: «Махорочки бы сейчас...» И — сигарету в рот.

— Да-а, махорочка...

Мужчины вздохнули. Помолчали.

— В сорок втором весной стояли мы в районе Лычкова в лесу, — сказал Андрей. — Вы где тогда стояли?

— Весной сорок второго?..

Разговор тронулся проторенным руслом воспоминаний, и мужчины, лежа на песке голова к голове, закурили еще по одной из общей пачки. Дети уже вновь плескались в реке, женщины, приклеив белые бумажки

на носы, лежали в темных очках и читали. Изредка до них доносился хохот, словно там не про фронт разговор шел, а рассказывали анекдоты. Таково уж свойство военных воспоминаний: кто дальше от фронта воевал, тот о подвигах рассказывает, об опасностях, о том, сколько раз его чуть не убило, кто там был, тот охотней вспоминает смешное, а память погибших попусту не тревожит.

Зине вскоре наскучило читать. Она сняла очки, сразу потеряв некую загадочность: «блондинка в черных очках».

— Вот все говорят — Ларионова, Ларионова, красавица... Может, я, конечно, не понимаю.— Тут Зина отрицательно покачала головой по адресу тех, кто думает, что понимает лучше нее.— Не знаю. Вчера опять показывали по телевизору «Анну на шее», я нарочно стала смотреть. Во-первых, у нее ноги короткие.

— А во-вторых?

— Что «во-вторых»?

— Зиночка, у женщин за «во-первых», как правило, не следует «во-вторых».

— Не знаю, Андрей, каких ты имеешь в виду женщин.— В глазах Зины, ставших плоскими, кошечка уже выпускала коготки из мягких лапок. Это ему за анекдот, который она поняла не сразу.— Но лично я...

— Зиночка, ты все же учитывай: я — за,— сказал Андрей.— Я всегда за. Кроме тех случаев, когда за не вижу.

Тут Виктор закашлялся.

— А ты не кашляй!

— Да нет, мне какое-то насекомое в рот попало. Млекопитающее...— Виктор в подтверждение покашлял еще.

— ...лично я всегда знаю, что хочу сказать,—добившись тишины, продолжала Зина.— Короткие и с косточкой. Вот что «во-вторых».

Виктор усиленно мигал Андрею, а вслух говорил:

— Между прочим, в Италии, говорят, выходил журнал «Ля Ларионова».

— Для итальянцев каждая русская женщина — красавица.— Это было сказано Зиной безапелляционно.— Но вот когда она там с Жаровым катается, не знаю, мне, например, неприятно было на это смотреть...

А солнце полуденное жгло, и зеркало воды и белая страница раскрытого журнала слепили. Странное ощущение было сейчас у Андрея. Словно он прощался со всем, что видел. Так бывает в предотъездный день на курорте. И море то же, и солнце, и так же берег полон купающихся, но ты уже не здесь. Ты лежишь на берегу, а мыслью ты в том поезде, который повезет тебя отсюда. Интересно, есть это чувство у Витьки? Ведь их поезд прибыл, ждет. А может быть, повез уже?

Тем временем разговор от «Анны на шее» перескочил к рассказу «Попрыгунья», и тут Виктор сказал, что вся история Рябовского — это, в сущности, история Левитана: был у Левитана в жизни такой не очень красивый роман. И вот возникает вопрос: имел право Чехов, который был в дружеских отношениях с Левитаном, представить широкой публике в таком свете своего друга? Если не имел права и не решился бы, не было бы рассказа. А так есть в мировой литературе прекрасный рассказ.

— Вить, а ты ведь не это спрашиваешь.— Голос у Ани был тихий-тихий: она сдерживала себя.— Имел, не имел — тебя не это интересует.

— Ну во-от, сразу на личности,— дурашливо занял Виктор.

— Ты спрашиваешь, за сколько имел право? За сколько можно? За сколько нельзя?

Андрей захохотал:

— Слушай, один — ноль!

— Не один — ноль, а двое против одного. Зинушка, поддержи!

— Очень надо...— Зина перевернулась на живот, спустила бретельки с плеч, чтобы спина лучше прожарилась на солнце.— Спорите о какой-то ерунде.

— А между прочим, что ты думаешь, это существенно,— сказал Андрей.— Пока выбора нет, все честные. И смелые! Особенно когда такая смелость поощряется. Дозволенная смелость. Хвалят за нее. А возник выбор... Тут не каждый сможет. И совсем не безразлично — за что?

Виктор сбоку ласково взглянул на него и продолжал тонкой струйкой сыпать песок из кулака.

— Но ты так не думаешь,— сказала Аня.

— «За что?», «за сколько?» — это вопрос вопросов. Убил одного — убийца! Под расстрел его! Миллионы убил — и люди веками спорят, кто ты есть. Один век так решает, другой век — иначе. Нет, это очень существенно.

— Но ты так не думаешь! — закричала Аня с обидой за него.

— Что ж тут «думаешь — не думаешь»... У меня и выбора-то никогда не было. Это если выбор, а ты самим собой остался, вот тогда — да! Я как тот чиновник, который взятку не брал. «А тебе давали?» — «Нет, говорит, никто не давал...»

— У тебя был выбор! У тебя была бронь, а ты на фронт пошел. А другие в это время брони добывались.

— Ну, знаешь, если это выбор... Так мы еще хвалиться начнем: я не ворую!

Виктор сыпал песок из кулака и шурился; струйка стала совсем тоненькая, вот-вот пресечется. Желание сказать боролось в нем с привычной осторожностью.

— Ты, Витька, брось отмалчиваться.— Андрей хлопнул его по спине.— Раздразнил спорщицу, а мне теперь достается.

— Я не спорщица. А только не бывает благом, чего достигли подлыми средствами.

— Не бывает? — Виктор стеснительно улыбнулся. — Можно исторический пример? Микеланджело.

И ребром ладони разровнял на песке площадочку.

— Что Микеланджело? — вскричала Аня. — Бескорыстнейший человек! Грабили все кто мог. Всю жизнь нищенствовал!

— Очень хорошо. — Пальцем, ноготь которого был желт от сигаретного дыма, Виктор начертил крест на расчищенной площадке. — А средства, которыми он добивался единоличного права строить собор святого Петра? Не стеснялся товарищ в средствах. Всех оттеснил. А в итоге? Стоит великое творение. И никому нет дела, какими средствами. Со всего света ездят смотреть. А расскажи, что он там двух младенцев зарезал, так повалят толпами.

— Витя, ты вчера уже толкал эту мысль, — сказал Андрей. — Было твое выступление. Народ не подержал.

— А я разве спорю? Я не спорю. Я только факты, факты привожу. Не все так просто, как мы это себе иной раз...

— Дети где? — спросила вдруг Аня. Поднявшись на колени, она вглядывалась испуганно и от волнения не видела детей. Только блестела река на солнце. У нее все в душе оборвалось, когда она увидела эту пустую блестящую поверхность реки.

— Да вон, вон они, — говорил Андрей.

И на том самом месте, куда она только что смотрела, где не было никого, она увидела всех троих сразу. Черные против солнца, дети играли у самой воды, строили крепость из мокрого песка.

Аня легла на разостланное мохнатое полотенце. После пережитого испуга ей как-то безынтересен стал спор.

— Ну так что? — спросила она, чтобы что-то сказать.

— Что? — Виктор опять ребром ладони разровнял чистую площадку. — Творческий человек иногда не властен. Талант требует реализации. И бывает сильнее. Вот он знает. — Он указал на Андрея и опять ласково улыбнулся ему.

— Ну, это ты, брат, загнул, — сказал Андрей. — Талант талантом, но и он не все спишет.

— Спорят сами не знают о чем. Двадцатый век, по моему. В двадцатом веке все люди современные. — Зина перевернула гремющую глянцевую страницу, еще дальше сдвинула купальник со спины. — А которые не умеют, так те еще больше других хотят. Ума не хватает, вот и непрактичные. Ань, ты чем прыщи выводишь? Если вот на плечах? Мне говорили, лучше всех этих кремов солнце помогает...

И оглянулась, не услыша ответа. Ани рядом не было. Зина зевнула, помахала себе в рот и легла на спину, положив журнал на живот.

Аня шла по берегу в сторону детей. А оттуда, где строили крепость из песка, уже оторвалась и бежала ей навстречу Машенька, маленькая частичка целого, влекомая силой притяжения.

Полжизни прошло с тех пор, когда они с Аней бежали на пригородный поезд. И опоздали. Задохнувшаяся, надышавшаяся морозом, она ела снег из шерстяной варежки, а он целовал ее ледяные от снега губы. А по платформе ходил милиционер в валенках с калошами. Прощел раз, прошел еще раз, сказал строго: «А ну выйдите на свет, чтоб я вас видел...»

Аня шла по солнцу в черном купальнике, сильная тридцатилетняя женщина: на мокром песке оставались глубокие следы ее ног. А навстречу летело маленькое ее повторение. Набежав, Машенька обхватила

мать, втиснулась в нее лицом, и даже здесь было слышно, как она визжит от радости.

Он смотрел на них издали, словно из окна того поезда, который увозил его. К лучшему? К худшему? Он знал только, что уже ничего не изменишь.

## ГЛАВА VII

Ночью, горячими ладонями глядя его лицо, Анна говорила:

— Так мне тебя что-то жалко! Ты прости, я тебе порчу радость.

— Ну чего, чего, трус Иваныч? Чего ты?

— Сама не знаю. Только жаль тебя. Так жаль, что я вчера даже сердиться на тебя не могла. И страшно...

— Ты еще на картах погадай.

— А я бы погадала. Карт нет.

— Чудная, честное слово. Беда случается — ты спокойней меня. Все хорошо — ты боишься.

— Я только чувствую: не будет уже того, что у нас было. Что-то сдвинулось. А нам было хорошо. И я не хочу!

Вот это она права: сдвинулось. И движется. Но странное только дело: не хочется торопить судьбу.

— Эх ты, охранительница своего гнезда. Ничего не бойся, пока ты со мной.

— Разве я боюсь? И уж не за себя, во всяком случае. Они у меня перед глазами, разве я виновата в этом?

Опять начинался их вечный разговор. А впрочем, он и не кончится никогда. Прошое всегда при нас, как твоя собственная жизнь. И хоть не с тобой было, а твое. Где-то он прочел: история народа — как ствол дерева; выпили из него круг, составь ствол вместе — дерево расти не будет. Это так. Хотя чего в истории не бывало!

Гегель, кажется, заявил: история учит нас только тому, что она ничему нас не учит. Веселое напутствие детям, внукам и правнукам. Впрочем, Гегеля он не читал. Философов, всех вместе взятых, они в те поры сдавали на экзаменах по краткому философскому словарю.

— Ты сегодня лежал у костра, дети думали — спишь. А у тебя такое было лицо...

— Какое?

— Душа за тебя сжималась.

Глаза ее заблестели в темноте. Андрей вытер их ладонью. Осторожно.

— Ты что, провожаешь меня? На фронт? А если б сына, если б Митю нашего пришлось провожать?

— Фронт — это другое.

— Потому что не с нами. Я вот про свою мать думаю: великомученица была, только теперь ее понимаешь. Даже внукам не пришлось порадоваться... Тебя бы она любила.

— А что, я тебе хорошая жена.

— Может, и лучше, что не дожила. Ведь до радости надо было смерть Юры пережить. Вот что не дай и не приведи: пережить своих детей.

За окном по лопухам, по листьям сирени стучал редкий дождь. И пахло дождем и сырой землей. А за дощатой перегородкой неслышно спали дети. Их дети: Машенька и Митя.

Андрею снился однажды сон — он даже Ане не рассказал, зная, как на нее это подействует, — снилось, что он проходит мимо Мити, как будто не узнавая. Только так он может его спасти: виду не подав, что это его сын. Почему? что? — ничего не запомнилось. Но вот это жуткое чувство: он должен не узнавать своего сына. И Митя смотрит молча, как он проходит мимо него.

— На войне хоть то было, что все общее, — сказала Аня. — Даже несчастье. Это со всем народом случилось.

— И тогда — со всем народом.

— Что ты сравниваешь? На фронт стремились. Это было святое. А перед этим — каждый в одиночку.

Он пошарил рукой, нащупал у кровати на полу сигареты, спички, закурил. И курил, глядя в окно, в темноту.

— Ведь им столько же было, сколько нам сейчас,— сказала Аня.— Знаешь, когда дядя Женя и тетя Нюся решили строиться на этом участке, их считали сумасшедшими. Там была свалка. Шлак, битое стекло, лопату в землю невозможно воткнуть. А потом какой был сад! Какие яблони, какая сирень! И все своими руками. Они как первые люди на Земле: построили дом, в нем родились их дети... Ты подумай, дядя Женя уже тогда делал операции на сердце, оперировал рак. Я тебе рассказывала, четыре года назад я встретила женщину, он ампутировал ей грудь. Она жива до сих пор, плакала, помнит его. А его нет. Я ведь фактически выросла в их доме. Мама шла на работу и оставляла меня на целый день. Дядя Женя все уговаривал ее: «Муська, дай вырежу Анечке аппендицит. Она и не заметит даже». Как мама потом ругала себя!

— Ничего в жизни не повторяется,— сказал Андрей, светя в темноте сигаретой.

— Да, да. И они так думали, наверное. Вы, мужчины... нет, это удивительно все-таки! Вам лишь бы логическое «объяснение найти. Все хотите логикой, разумом...

Да, это их мужское занятие она не очень жаловала. Но и не вникала. Считала так: мужчины без этого не могут — и пусть забавляются. Им надо мыслить, искать объяснения в исторических параллелях, ну вот как необходимо им курить, выпить другой раз и при этом много разговаривать. Никогда ничего от этих разговоров не менялось в жизни, она была в этом совершенно уверена. Но вот что поражало Андрея: то, к чему он приходил сложными путями, оказывалось, она и так знает несом-

ненно. Не по мысли — по чувству, в котором была совершенно свободна.

Он, конечно, не мог не знать, да и она, если спросить, сказала бы, что из них двоих умней он. Многие мысли ей были просто скучны, как скучны ей были газеты. И в то же время ей, как младенцу, бывало то открыто, чего не могли разрешить мудрецы.

Далеко где-то сверкнуло беззвучно отсветом из-под туч. Андрей подождал. Даже и не пророкотало.

Весь день давила сильная жара. Ближе к вечеру от горизонта, быстро закрывая небо, двинулись тучи; ветер гнал по улице пыль, белым пухом летели с кудахтаньем куры, мотались согнутые вершины деревьев, отрясая листву. В домах стало темно.

Потом вслед за сверкнувшей молнией низко над крышами ударил гром, в лампочках померкло, вновь разгорелось, грохнуло сильнее прежнего, и свет погас. Небывалой силы хлынул дождь, вмиг выполоскал сады, улица зашумела пенной глинистой водой, по воде босиком, прикрывшись мешками, рвущейся из рук целлофановой плёнкой, женщины загоняли коров во дворы.

Гром вскоре откатился за дальний лес — оттуда и посверкивало, — а небо так и осталось низким, из него то сеялся, то принимался идти дождь.

— Они как-то жили гостеприимно, — говорила Аня, — теперь так не живут. Всегда народ был в доме. Вечером в саду накрывали под электричеством стол. Сорокалетние мужья, красивые жены. Я только теперь это понимаю. Еще не начались болезни, и уже дети подросли. И уже что-то достигнуто в жизни. Помню, приходили братья Авдеенки, полярные летчики, красавцы. Доктор Никитин, комиссар гражданской войны. Все заслуженные люди...

— А если не заслуженные? Или жизнь не заслуженного не стоит ничего?

— Да, ты прав. Но я так их помню...

Опять пошел дождь, мир сузился, стал меньше, тесней: они двое и дети их рядом.

При разгоревшемся уголке сигареты Аня увидела его губы, сжатые жестко, горькие морщины у рта, раздражение и боль в лице; увидела, как задрожал в пальцах уголек сигареты, когда он отнимал ее от губ, и сердце в ней повернулось. Он ведь мужчина, тот, кто должен защитить... Как часто в наш век самым беспомощным оказывался мужчина. И в том не его была вина.

Она целовала его мягкими, добрыми губами.

— Обожжешься. Сигарета же.

— А ты не кури, когда с женой. Жена, понимаешь, жена. Жену надо любить, а не злиться.

Она сама взяла у него сигарету из губ, выбросила за окно.

— И не о делах думать. Любить жену, любить.

— Что, сердце повернулось?

— А у меня все от сердца. Только от сердца. И не бывает иначе.

Такой он родной был сейчас. Она целовала его с закрытыми глазами. И так близко стало, так радостно обоим, так вдруг нестерпимо больно, казалось — вот сейчас лопнет сердце.

Потом они лежали молча, тихо. Слушали дождь. Аня так и заснула, носом уткнувшись ему под руку.

## ГЛАВА VIII

Митя, бегавший к Анохиным, принес новость: на речку они не пойдут, у них Мила заболела. Что с ней, ему не сказали, видел только — лежит на кровати поверх одеяла. Аня тут же предложила зайти.

— Да ерунда, — отмахнулся Андрей. — Съела чего-нибудь. Что с детьми бывает в летнюю пору?

Но по дороге с речки они все же зашли. Виктор

и Зина обедали. Мила лежала на кровати с грелкой, ноги укрыты халатом.

— Ну как? — спросила Аня, стоя в дверях с кошелкой в загорелой руке.

Виктор хлебал окрошку, густо засыпанную зеленым луком.

— Здорово, товарищи начальники! — со двора приветствовал Андрей и положил локти на подоконник. — Не просите, не уговаривайте: сыт. Ну разве что пообедать, если уж так уж...

Он вспрыгнул, сел боком в окне, заслоняя свет.

— Чего вы нас перепугали?

— Шутки твои... — сказала Аня и покачала головой.

Сидя прямо, Зина от тарелки несла ложку к оскорбленно поджатым губам. «Кажется, в самом деле обиделись», — подумал Андрей.

Но с Зиной лучше не выяснять, это он хорошо знал. Тут если и не виноват, виноватым окажешься и уж так останется за тобой.

— Окрошка есть, — сказала Зина. — Вкусно!..

Она проглотила, и две продольные жилы на шее напрялись.

— Да нет, Зиночка, я пошутил. Вон дети во дворе, мы обедать идем.

Со двора слышны были восторженные взвизги: это оценилась Дамка, хозяйская собака, и Машенька обмिरала вокруг щенят.

— Так что у Милы? — спросила Аня.

— В общем... — Виктор доедал, наклоня тарелку. Подавил отрыжку. — В общем, я вызвал машину. Пусть привыкают.

И приосанился. Сняв запотевшие очки — они всегда у него запотевали во время обеда, — протирал их, помаргивая. Надел, взгляд за стеклами прояснился.

— Вот так!

— Какую машину? — Андрей улыбнулся.

— Сходил на почту, позвонил Немировскому. А то целый день стоят, шофера им фары надраивают. Опухли от сна.

— Ты представляешь, Аня,— заговорила Зина,— у нас ребенок заболел, а он говорит: «Не знаю, где машину взять...»

— Возьмет! — Виктор поднял широкую ладонь.

— Товарищ Бородин нашел время принять Виктора и Андрея. Да как он вообще может после этого?

Аня присела к Миле на кровать: ей не понравилось, как у девочки блестят глаза. Глядя ее по волосам, попробовала лоб.

— Ты думаешь, ей нужна грелка?

— Я им говорю, меня от нее еще больше тошнит.— В голосе Милы были слезы. И на руке своей Аня чувствовала ее горячее дыхание.

— Знаешь, я бы грелку не давала.— Она легонько подавила ребенку живот.— Больно? А здесь? А если вот так? Нет, я бы сняла. Зачем, если неприятно?

Она еще раз погладила Милу по волосам, глазами сделав Зине знак выйти. Во дворе тихо, потому что окна в дом были открыты, сказала ей:

— Ни в коем случае грелку! Это похоже на аппендицит.

Лицо Зины стало обиженным и глупым. Словно припухло враз.

— Не знаю,— сказала она.

В присутствии Виктора получалось так, что Аня понимает, а она не понимает.

— Я уж тогда совсем уж не знаю. Ничего такого она не ела. У меня простокваша была. Из погреба. Холодная. Очень вкусно. А тут Виктор бутылку кваса открыл, она тоже выпила...

— От кваса аппендицита не бывает.

Ане сейчас, в общем-то, было наплевать, что Зина о ней думает. Когда болен ребенок, меньше всего надо заботиться о самолюбии родителей. Но она знала, что переубедить Зину невозможно. Ее можно испугать.

— Ты мать, ты смотри. Но я просто уверена, что это аппендицит.

— Да? Ты думаешь? Ее ночью рвало.

— Вы с ума сошли!

— Что ты пугаешь ее? — вступился Андрей.

— Я пугаю? Я не пугаю. Я только хорошо знаю, что такое пропустить аппендицит. Вот это я хорошо знаю. Ты когда вызвал машину?

Виктор — он стоял в красной шелковой рубашке на выпуск, в джинсах, в тапочках на босу ногу — взглянул на часы. Плоские, они впечатались в шерсть руки.

— Да вот сколько... Час уже. Да... Часа полтора...

— Не понимаю, — волновалась Аня. — На поезде быстрее. Ты, Андрей на руках донесете. Наконец тут где-нибудь машину. Я бы ни за что не ждала.

Зина загорячилась.

— Ты представляешь, Аня, ребенок болен! Ребенок! А они не знают, где машину взять...

— Ничего, ничего. Найдут.

— Разве есть у нас что-либо дороже детей?

— Но это же твой ребенок! — не выдержала Аня.

— Вот именно! — сказал Виктор. — Если бы их дети — ого! Ничего, пусть почешутся.

Глаза у Виктора за стеклами очков были ускользающие.

— Виктор! — спохватилась Зина. — Разве час? Три часа уже прошло! Нет, как они могут? Это же так нехорошо...

Аня начинала чувствовать себя идиоткой.

— Смотрите сами. Мы дома. Мне надо их обедом кормить. Но я бы не ждала.

Обедали, прислушиваясь все время. Только дети не

умолкая рассказывали про щенят: какие они теплые, какие у них животы толстые.

— Я его прижала к себе!..— Машенька даже зажмурилась от нежности, и отец, глядя на нее, начал таять.

— Не понимаю,— не выдержала Аня, раскладывая второе по тарелкам,— не могу понять!

— Ну принимай ты людей такими, как есть. Вот у тебя манера: всех исправлять, всех на свой лад переделывать. Ты же знаешь Витьку. Хороший парень, но когда денег касается...

— Денег? А если жизни? И это твой друг!

— Нельзя же: либо по-моему, либо никак. А по их представлениям, мы не так живем. Наверное, не так. Честное слово, лучше, когда спокойней.

— Да? Ты бы так мог?

— Ну и плохо. Плохо, если хочешь знать.

— Плохо, что мы молчим. Если бы чужой ребенок на улице... А это твой друг — и ты молчишь!

— И потом ты при Викторе...

— Вот уж на что мне наплевать! Ребенок болен, а я должна об этом думать.

Кончилось тем, что после обеда Андрей все же пошел к Анохиным. Шел и себя клял в душе. Он хорошо знал по опыту, что за сказанным вслух у Виктора и Зины всегда еще столько же, чего они говорить не хотят. И такие другой раз дальние расчеты, что они уже и сами толком не поймут. Начнешь добиваться — ты же дураком окажешься. Но в конце концов это их право. Нельзя, даже к добру нельзя гнать людей палкой. Нельзя всюду и везде насаждать свои понятия, как это делала бы Аня, дай ей волю.

Однако вернулся он от Анохиных смущенный.

— Что-то мне не понравилось на этот раз. Зина плачет. У него ведь не поймешь: я думал, он со стариком говорил. Я еще удивился. Старик бы из-под земли

добыл, раз такое дело. А не добыл, прислал бы кого-нибудь на такси. Оказывается, Немировского не было. Кому-то сказал, тот кому-то передать должен...

— И они ждали! — Аня смотрела на него и головой качала. — Знаешь, я тебя презираю!

— Ну, правильно.

— Мягкость твоя — это равнодушие. Тебе удобней не вмешиваться. Если ты можешь одобрять...

— Да я хоѣ словом...

— Ты такой же, как они, понял?

— Я с детства понятливый: три раза объяснят, уже начинаю понимать.

— И шутки твои...

— Молчу.

— С вечера — подумать! — с вечера болен ребенок, а они все как бы подешевле устроиться. И эта ложь: «Разве есть у нас что-либо дороже детей?» Если ты сию же минуту...

— Уже иду.

— Нет, мы пойдем вместе.

— Детка!

— Мы пойдем вместе!

Андрей сел на табуретку посреди кухни, вздохнул:

— Тогда я не пойду.

И руки на коленях сложил. Аня смотрела на него. Так смотрела, что у него волосы на макушке начинали потихоньку дымиться. Но он сидел с ничего не выражавшим лицом. И она знала: при всей его мягкости, сейчас с ним ничего не сделаешь. У него было однажды на фронте, когда он сел и не сдвинулся с места. Батальон отступал или рота — Аня никогда не могла запомнить, что часть чего и что во что входит, — так вот, они побежали, а он сел на землю. И они бежали мимо него. Потом начали останавливаться.

Лет восемь они прожили с Андреем, когда случайно

она услышала об этом: приехал однополчанин, они выпивали вечером на кухне и тот стал вдруг вспоминать. Потом Митя много раз выпытывал у отца: «А что ты им говорил? А ты бы вверх стрелял... А почему ж они начали останавливаться?» Отец только улыбался: «Ну, может, подумали — я жаловаться на них стану». — «Кому?» — «Да, пожалуй что и некому». — «А если б не остановились? А тут немцы. Что тогда?» — «Тогда? Тогда, сын, могло тебя на свете не быть...»

— Хорошо, я не пойду, — сказала Аня. — Но ты даешь мне слово?

— Тебе бы дюжину детей, двоих тебе мало, — говорил Андрей, кладя лишнюю пачку сигарет в карман. — Может, мне с Виктором придется поехать.

— Деньги возьми. Дотянуть до таких пор!

— В наше время от аппендицита не умирают.

— Да? Тысячи по стране. Вот от такого невежества. Прежде рак научатся лечить.

У Анохиных творилось уже невообразимое что-то. До Зины дошло с опозданием, но теперь она была как безумная. То кидалась Милу одевать, то причитала над ней и до того запугала ребенка, что казалось — она и в самом деле умирает.

Андрей вызвал Виктора во двор:

— Вы хоть девочку-то пожалейте.

Виктор только сморщился жалко. Когда закуривал, дрожали руки.

— Вот что: я пойду на переезд. Какую-нибудь машину поймаю. Хоть грузовик. Но ты не жди. Найдешь раньше — езжайте. Договорились? Все равно переезда не минуете.

По деревне Андрей шел, а дальше побежал. Издали увидел грузовик с сеном, под которым и грузовика не было видно: огромный стог, покачиваясь, переваливал через переезд. Когда подбежал ближе, из-за грузовика вынырнул скрывавшийся в пыли «Москвич». Андрей

кинулся к нему с протянутой рукой — в «Москвиче» подняли изнутри стекло.

А после сорок минут стоял на переезде, курия сигарету за сигаретой. Шлагбаум опускался, обдавая ветром и грохотом, пронесился состав, и долго еще земля дрожала под подошвами. Вновь подымался шлагбаум.

Из будки вышла молодая стрелочница с синей эмалированной кружкой и хлебом в руке, села на вымытые деревянные ступеньки крыльца, натянула юбку на загорелые колени.

— Давно ждешь.

Андрей подошел ближе.

— Понимаешь, дело какое...— И рассказал ей.

— Дочка твоя?

— Приятеля.

Сладко причмокнув, стрелочница отхлебнула молока из кружки. Над верхней губой ее, как усы, темное пятно. И такое же темное пятно на лбу, словно загар неровно лег. Если верить приметам, сын должен быть у нее.

Она отхлебывала розовое молоко и смотрела на закат. Тихо было вокруг. Пусто. Пахло мазутом от полотна. Железо, шпалы, щебенка, весь день калившиеся на жаре, теперь отдавали тепло, и вдали, где горели зеленые огни светофоров, блестящие рельсы зыбились над землей, словно превратятся в прозрачный пар.

Наконец на полевой дороге показалась машина. Она шла быстро, пыль далеко стлалась за ней. Попав под свет заката, блеснула на повороте ветровым стеклом. Стрелочница поставила кружку на ступеньку, пошла за будку, и шлагбаум начал медленно опускаться.

— Спасибо! — крикнул Андрей на бегу.

«Волга» уже приближалась к переезду, требовательно но сигнала.

Андрей подбежал, потянул дверцу на себя:

— Шеф!

И всунулся под верх машины, не замечая на своем лице искательной улыбки.

— Шеф, выручай. Ребенок заболел... Целый час стою. Ты не думай, не заразно. Довезти только.

Не снимая носка летнего ботинка с газа, шофер слушал, смотрел большими блестящими глазами. Кивнул: — Все понятно. Не могу.

И глянул на дверцу, за которую держался Андрей.

— Слушай, шеф, тут всего два километра!

Шофер постучал ногтем по стеклу автомобильных часов:

— Сколько на них, прочитай.

Было без трех минут восемь.

— Уже должен быть. Машина государственная, я человек государственный...

Голос тихий, сочувственный, слова заученные. А сам молодой, в свежей навывпуск рубашке на загорелом теле. Откинулся на спинку сиденья, смотрит ясно. Должно быть, по дороге искупался в речке: жесткие волосы мокры, расчесаны на пробор. Такой одним видом своим хозяйский глаз радует. Да еще в чистой машине.

Андрей сел рядом, захлопнул дверцу за собой.

— Пойми, все равно не уйду. Час ждал.

— Машина государственная...

— А мы? Другого государства? Два километра туда, два обратно,— Андрей достал пять рублей,— оглянуться не успеешь.

Шофер спокойно посмотрел на деньги, посмотрел назад на чистые чехлы.

— Да нет, нет, не думай! — поспешил заверить Андрей.— Девочка большая, нигде ничего не напачкают: аппендицит.

— Эх, режешь ты меня без ножа! — Шофер втиснул деньги в прорезной карман туго обтягивающих светлых брюк. Заторопился.— Приедем, а там еще ждать небось?

— Нас ждут!

Андрей высунулся, радостно махнул стрелочнице. Шлагбаум начал подыматься.

— Во-он что! — теперь только сообразил шофер. И пообещал: — Буду ехать обратно — вгоню ей чертей!

Андрей сбоку наблюдал его. Он знал эту породу. Но спросил простовато:

— Кого возишь?

Шофер повернул голову, похолодевшими глазами глянул на него:

— А тебе зачем?

— Все ясно. Вопросов не имею, молчу.

— Ты понятливый, — насмешливо похвалил шофер.

— Ну так! Ты, кстати, на часы не гляди, они у тебя бегут. Вот точное время.

— Что за фирма?

— Наши. «Полет». Направо, направо. И до магазина. Вон под железной крышей.

— Сколько платил? Пятьдесят пять рэ?

— Вроде.

— Я себе такие хотел. В экспортном исполнении. Конечно, можно достать.

— Часы хорошие, — хвалил Андрей, радуясь, что он хоть этим заинтересовался. — Десять суток — ни разу не подводил. Вот в этот проулок давай. Видишь — ждут! Я тебе говорил.

У калитки караулил Виктор. Завидя машину, кинулся в дом.

— Давай скорей! — кричал Андрей, на всякий случай не вылезая.

Пока разворачивались, Виктор вынес на руках дочь, Зина и Аня несли вещи.

Обернувшись назад, шофер хмуро смотрел, как эти люди, пригибаясь, будто кланяясь ему, лезут в машину, усаживаются с ребенком на чистых чехлах.

— Кошелку не ставьте!

— Я молоко забыла выключить! — в последний момент из машины крикнула Зина.

— Не думай, посмотрю! За всем посмотрю! — Аня уже махала им, торопила.

Леша, хозяйка, все их дети, человек пять соседок стояли, пригорюнясь, словно отпевать собрались. Под ногами у них металась охрипшая от лая Дамка.

— Ну, все, что ли?

— Поехали.

От трех калиток, как со старта, рванулись собаки под колеса. Когда сворачивали в проулок, Андрей обернулся. Ани уже не было, женщины стояли подпершись, обсуждали событие. Серединой улицы бежала обратно Дамка, мотая из стороны в сторону мокрыми отвислыми сосками.

Миновали магазин, к крыльцу которого прислонено, как всегда, несколько велосипедов, уже переезд показался, как вдруг — Зинин истерический крик:

— Мила! Доченька-а!..

У Андрея от этого ее крика холод пошел по затылку. Когда обернулся, увидел Зинино безумное лицо, залитое слезами.

— Она... она... глаза закрыла...

— Господи, да что ж ты так! У меня и то...

Зина плакала, Мила с перепугу плакала, Виктор силится улыбаться белыми, расползавшимися губами.

— Ну пассажиры попались! Знал бы — да ни за что! Такие потрясения переживать...

Они остановились у закрытого шлагбаума. Мимо проходил товарный состав, мелькали, катились колеса по прогибающимся рельсам, сухая щебеночная пыль росла над полотном, над мчащимися платформами с лесом. Шофер стоял рядом с машиной, смотрел, рукой держась за открытую дверцу.

Андрей сказал быстро:

— Из машины не вылезать!

— Как? Ты разве не договорился? — забеспокоилась Зина.

— Он до станции и то не брал.

— Нет, мы не можем. Как же так? Надо было договориться. У нас ребенок. Виктор!

Сжав тонкие губы, Виктор соображал:

— Правильно!

— Надо было ему сразу сказать. Как же ты так, Андрей?

— Тише!

— Он не должен, он не имеет права.

Мелькнула последняя платформа, шофер задом попятился в машину. Осторожно переехали пути, и тут он прибавил газ, погнал по грейдеру. Белая известковая пыль вихрилась позади, в глаза — красный свет заходящего солнца. Он блестел снизу на провисших в воздухе телеграфных проводах. Сквозь рокотание шин по щебенке Андрей слышал за спиной Зинин шелестящий взволнованный шепот.

Развилка. На станцию вправо, в город прямо. Андрей положил руку на локоть шофера.

— Шеф, прямо.

— Что-о?

Резко, так, что всех влево потянуло, шофер крутанул к станции.

— Товарищ, послушайте, товарищ! Вы же не можете так поступить! Виктор, что же ты молчишь? Товарищ, вы же советский человек.

Виктор схватил его за плечо:

— Ты!

— А ну не лапай!

Взвизгнули тормоза, кинуло всех вперед.

— Вылазь!

— Вы не имеете права! Виктор!.. Товарищ!..

Всей ладонью шофер давил на сигнал. Машина стояла позади дощатой станции и сигналила так, что уши

закладывало. Какие-то люди на платформе оборачивались.

— Милиция! — выскочив, орал шофер. И снова давил сигнал. — Милиция!

Зина плакала, что-то кричала, но голоса не было слышно. Андрей сидел белый. В замке торчал ключ зажигания: брелок в виде шины покачивался на цепочке. Решение было мгновенным: сесть за руль — и пусть догоняет. Но в следующий момент он выскочил из машины.

— Не ори! Чего орешь?

— Милиция!

— Ори, ори! Громче.

Никогда в жизни не хотелось ему так ударить. Бить в это орущее лицо. Но уже бежали сюда по платформе люди, выскочил человек в железнодорожной фуражке. И, заслонясь от машины спиной, Андрей отстегивал, срывал с руки часы.

— На! Бери! Все равно хоть тут милиция, хоть танки вызывай...

— Да? А вот поглядим!

Но видно было — колеблется. И, ненавидя, Андрей униженно просил:

— Бери, чего там... Хотел такие? С ребенком никто не выгонит, пойми. Шеф, давай по-хорошему. Честное слово, ну?

— А голову с меня снимут, это как?

— Шляпу наденешь.

И совал, совал часы в потную руку.

— Бери, не обижайся. Да ладно, ладно, бери.

Всунул наконец.

— Людям сделаешь, а потом они же тебе...

Но уже сел за руль. На виду прыгавших с платформы, бегущих на крик людей развернул машину и погнал обратно к грейдеру.

Андрей сидел рядом с ним, весь еще дрожа. Сзади всхлипывала Зина. Виктор — затяжка за затяжкой — нервно докуривал сигарету.

## ГЛАВА IX

— Был бы пистолет, я б его, подлеца, застрелил! — Виктор сжал виски и застонал, раскачиваясь. — Вот они живут, им ничего, сволочам таким, не делается. Они живу-ут!

Въехавшая в ворота «скорая помощь» осветила его, согнутого на скамейке, и покатила к приемному покою. Попадавшие в свет ее фар больные в халатах и пижамах ослепленно жались к кустам.

Проехала, за красными стоп-сигнальными огнями ее сомкнулась темнота, и опять только шарканье больничных туфель по гравию, голоса.

Больница была старая, трехэтажная. Оштукатуренная и окрашенная в желтый цвет, с белой колоннадой посредине, она всем видом своим и столетними липами напоминала городскую дворянскую усадьбу прошлого века.

Андрей и Виктор сидели рядом на скамейке, курили. Операция шла около часа, и уже было известно, что аппендицит гнойный, запущен. Зина дежурила под дверьми операционной, а они сидели здесь.

И всего-то в тридцати метрах от них, за больничной железной оградой была улица, неоновый свет, мчались машины, в кафе и ресторанах полным-полно, на тротуарах толчея, громкие голоса, смех. В такие летние вечера, когда в домах, нагретых за день, духота, весь город на улице, как в праздник. Только у тебя несчастье.

— Почему, почему со мной это должно было случиться? — Виктор огляделся затравленными глазами. —

Именно теперь, когда все так складывается. Именно теперь... Ты знаешь, что сегодня пятница?

— Пятница. Ну и что?

— В прошлую пятницу мы же сидели с тобой в баре. Понимаешь? Я, когда сообразил это, вспомнил... За все в жизни приходится платить.

— Брось, Витька!

— Не-ет, я знаю. Это не случайно. За все, за все...

— Тысячи совпадений, только мы не замечаем.

А когда случится...

По дорожке под фонарем провели молодую плачущую женщину. Она качалась. Под руки вели ее старик и старуха, что-то говорили. Старик нес кошелку с детскими вещами.

— Если Мила умрет! — Виктор бил себя кулаком по колену. — Если она умрет...

— Ты обалдел окончательно! Что ты несешь?

Виктор затягивался сигаретой как всхлипывал. У него ознобно постукивали зубы.

— Тут, когда под этими дверями сидишь, черт те что в голову лезет, — говорил Андрей, чтоб отвлечь. — Когда Машенька должна была родиться... В пять утра мне сказали: «Началось». Сажу во дворе, вот как мы сейчас. А там у скамейки труба из земли торчала. Как ствол трехдюймовки. Курю и бросаю окурки в трубу. А в ней, как в пепельнице. Не один я так сидел. Позвоню в дверь — «Папаша, не волнуйтесь». Опять сажу. А голуби эти... Зобы лоснятся, ходят по двору на красных лапах. И воркуют как стонут. А мне все ее стон слышится. Позвоню опять — «Папаша, не волнуйтесь. А вы как думали?» Сходил еще за папиросами, опять жду. Стыдливость эта наша дурацкая, боишься лишней раз надоедать. Она, оказывается, погибнуть могла в тот раз, сознание уже теряла. А они христосуются над ней: пасха как раз была. И врач дежурный один на всех. Аня их просит: «Вы мужу скажите, он здесь где-нибудь».

Он за профессором поедет». Так еще возмущалась акушерка: «До чего я этих женщин презираю! Вот ведь помирает, а о мужике думает». Ну, кажется, я тебя успокоил.— Андрей засмеялся.— Вот так дочка нам далась, чуть мать на тот свет не отправила. А уж передумано было...

— Никогда не прощу себе. Если случится — не прощу!

— Отец! — Андрей положил ему на спину ладонь. Спина была потная под рубашкой.—Ну что ты, Витька?

— Не прощу!

Виктор курил, отворачиваясь:

— Ты правильной живешь.

— Брось.

— Нет, я знаю.

— Это со стороны. Мать моя восьмой была у бабки. А мы над одним, над двумя трясемся. Не меньше трех детей должно быть, иначе что за семья?

— Да... Да-а...— ронял Виктор в ответ тому, что не говорил вслух.— Она ведь у нас... С детства не очень удачная: сердце. С рождения еще. Да и не только... Во время операции это ведь опасно, а?

И спохватился в тот же момент:

— Ты только Зинушке не говори. Девочка, ей замуж выходить.

— Ну что ты! Зачем?

Но все же Андрей почувствовал себя несколько ошарашенным. Дети их с первого дня росли на глазах, и вот за четырнадцать лет слова не было сказано. Правда, однажды как-то Виктор расспрашивал их про знакомого врача-кардиолога: кто? что? сколько берет? Расспросил подробно, но издалека. А когда Аня предложила поговорить с врачом, удивился: «Зачем? Нет, нам не нужно». Андрей запомнил это потому, что в тот раз даже некоторое охлаждение наступило. Аня чувствовала себя обиженной: она старалась, а из нее дуру сделали.

Он, как всегда, уговаривал не принимать всерьез. В конце концов, никто о своих детях всей правды не рассказывает. Нельзя на это обижаться, нельзя осуждать.

Нельзя-то нельзя, но если Мила — сердечница, как же они ждали столько?

— Нам еще с вечера надо было, — говорил Виктор. — Леша предлагал сбежать за машиной. А я подумал... Я тебе, Андрюша, честно говорю... Подумал: какого черта! Есть же машины, ездят на них. Пусть пришлют! В конце концов, заслужили мы. Я знаю, ты бы не стал ждать.

Он жал на самый больной зуб, болью заглушал боль.

— Ну что ты себя грызешь?

— Ты в такие минуты не считаешься, я знаю. — Растроганными глазами Виктор смотрел на друга, и неясная обида, зашевелившаяся было у Андрея в душе, исчезла. — А мы с Зинушкой... Ну зачем, зачем все, если ее не будет? Ведь все для нее!

— Слушай меня: кончится все хорошо. Я не успокаиваю, я знаю. У меня был аппендицит, а у Ани какой был!

— Да? А почему же врач?..

— Врач обязан. Мы, родители, жуткий народ.

— Да? — Виктор жалко шурился. — Думаешь? — Взглянул на часы. — Долго как. Что ж так долго?

Открылась дверь отделения, освещенная снаружи. Вышел врач в белом халате, в белой шапочке, оглянулся.

Они уже оба стояли. И с места двинуться было страшно.

Врач закурил. Стоял и курил на воздухе, в открытой двери под фонарем. Мимо него — тук, тук каблучками — пробежала в отделение полденькая золотоволосая, в перетянutom белом халатике. Когда протискивалась в

дверях, она ли его выставленной грудью придавила, он ли ее придавил? Раздался смех.

Сели опять на скамейку ждать. Виктор только взглянул да вздохнул: тут дело о жизни ребенка идет, а они покуривают, смешно им. Дождешься от них сочувствия...

Врач докурил. Красный след в воздухе прочертила брошенная сигарета, и дверь отделения, все это время распахнутая в белую глубину, закрылась. Только горел над ней фонарь.

— Вот так не ценишь, пока не ударит по затылку,— говорил Виктор.— Неужели должно случиться, чтоб начать ценить? Ведь ничего, ничего не надо!..

— Ты посиди, я все-таки схожу узнаю.

Андрею уже и самому тревожно было.

— Думаешь? Обождем. Обождем. Андрюша, я даже не знаю, что бы я без тебя делал.

— Перестань, Витька.

— Нет, я хочу сказать.— Виктор положил ладонь на его руку. И смотрел в лицо любящими, растроганными глазами.— Вот так один, здесь... Андрюша, я все знаю. Все! И этого я тебе не забуду никогда!

— Знаешь, Витька, если мы еще считаться начнем...

— Я хочу, чтобы когда-нибудь...

— Да перестань!

— Нет, я хочу. Я имею право.

— Имешь, имеешь.

Чудак Виктор. Из двух возможных — отдавать и брать — приятней отдавать. А он отплатить хочет.

Через две недели, когда минули волнения и Мила была уже дома — ни в лес, ни на речку она пока еще не ходила, целый день лежала с книжкой в саду,— к Медведевым пришла Зина, очень возбужденная.

— Андрей! Нет, ты только пойми меня правильно...

Я даже не знала. Оказывается, ты отдал шоферу свои часы?

Андрей брился перед зеркалом, но и с намыленными щеками было видно, как он покраснел.

— Ты тоже не знала? — Зина перехватила Анин взгляд, и сразу голос ее стал разоблачающим. — Вот видишь...

Самое стыдное было то, что он действительно не рассказал Ане. В тот момент, в машине, все было само собой разумеющимся. Но потом чего-то вроде стыдно стало. Он знал первый вопрос, который Аня задаст: «А он бы отдал за тебя?» Тут Аня была ревнива.

— Почему ты думаешь, что я не знала? — ровным голосом спросила Аня за его спиной.

— Нет, мне показалось. Ты, пожалуйста, Аня, не думай ничего. Просто Андрей как-то нам ничего не сказал...

— Но вот ты же знаешь. Надо думать, не от шофера. И потом, как ты вообще представляешь себе: он что, должен был посоветоваться?

— Я не знаю, конечно, но все-таки мы тоже... Хотя бы тэт на тэт.

Андрей, выбривавший угол рта, едва не прыснул. Зинино уверенное «тэт на тэт» и еще «жаба грудей» доставляли Ане всегда огромное удовольствие.

— Я все-таки не понимаю, — говорила Аня, и в зеркале за спиной у себя Андрей видел ее смеющиеся глаза. — Часы его, имеет он право дарить кому захочет?

— Нет, ну как же? Если бы он сам... Но ведь и мы тоже в какой-то степени... — Зина была вся в волнении: ей и сказать хотелось, и надо было не сказать лишнего. Челочка на ее лбу трепетала. — Мы бы тоже как-то участвовали, если б знали заранее. Шофер — конечно... ха-ха... Почему ж ему не взять?

Андрей повернулся от зеркала.

— Мила как?

— Мила, конечно, лучше сейчас. Это я должна прямо сказать.

— Ну вот видишь. Значит, все слава богу.

— Нет, но мы обязательно со своей стороны...— Зина становилась уверенной, по мере того как позиции обеих сторон прояснялись.— Мы непременно, как же так? Мы так не можем. Хотя бы в какой-то мере.

— Слушай, мы ведь поссоримся.

— Нет, мы так не можем.

— Вот и хорошо.

— Нет, нет, Андрей! Как же так? Встань на наше место. Ты встань.

— А сидя можно?

Зина не враз поняла. Не потому, что она вообще трудно понимала, а потому, что мысль и слух ее были нацелены совсем не на шутки.

— Ты все шутишь, Андрей. А я думаю, и ты бы на нашем месте не захотел! Если уж так уж, тогда мы ко дню рождения... Вот будет у тебя день рождения, и мы со своей стороны обязательно... Так нельзя. Мы тебе очень благодарны, но мы не хотим быть должны...

— Дурак ты, дурак! — сказала Аня, когда Зина ушла.— А я рада. Если ты мог не сказать мне...

— Детка!

— Нет, я хочу, чтоб тебе было стыдно. Ты что же, думал, что я...

— Да нет, нет!

— Я-то пойму, потому что я тебя знаю. Но ты! Столько лет прожили вместе — и ты не знаешь до сих пор...

— Ну не обижайся.

— Участвовать пришла... Дочь у нее тоже при участии?

— Знаешь, — робко сказал Андрей, — они ведь отставали здорово. И даже забегали вперед...

— Да? А мне всегда казалось, они точно шли.

— Что ты! Останавливались сколько раз.

— Подумать! И это были самые точные часы в нашем доме.

Она улыбалась. А в душе было больно за него. «И это твой друг! — хотелось сказать ей. — Да что ж его пытали? Каленым железом жгли? Кем надо быть, чтобы позволить ей прийти?»

Она знала Виктора, могла представить, как это обсуждалось. Как Зина пошла сама, потому что он тряпка, а она лучше сумеет сказать. И ему удобно: раз не он сам, значит, ничего не было. В крайнем случае, глаза ответят в сторону.

Но ничего этого она не сказала. Его ей было жаль. Кто еще в целом мире пожалеет его, если не она?

— Только уж как хочешь, но день рождения твой в этом году отменяется. А то дождемся, что она за ручку поведет тебя покупать часы. В складчину. — И тут Аня позволила себе маленькое удовольствие. — Чтоб ты «встал» на ее место.

## ГЛАВА X

Когда на лето вывозили детей в деревню, Андрей говорил: «Ну, полдела позади. Осталось вернуться». Это первое утро в деревне — а впереди все лето! — казалось бесконечным. Дети выскакивали во двор как в мир. И все в этом мире только начиналось. Еще весенней была листва на деревьях, черными — грядки огородов, а лес — без грибов. За наседками на тонких ножках-соломинках катились желтые выводки пушистых цыплят. Народившиеся за весну телята, отнятые от матерей, недавно выгнаны на молодую траву.

И день, когда снова в школу, был так далек, что можно и не думать.

А потом как-то все быстро свершалось. Ночные зарницы освещали хлебное поле за деревней, а в садах

в темной листве — белые яблоки. Цыплята бегали голе-настые, с хищными клювами, у телят торчали короткие рога, а из горла рвалось грозное мычание, и глаз посвечивал диким фиолетово-красным огнем. И дети, открывшие за лето не меньше, чем за год узнают из книг, вытянувшиеся, загорелые и как будто похудевшие даже, становились не похожи на себя.

Первое купание дома в ванной смывало с них половину загара. Чистых, с вымытыми головами, Аня рассовывала их по постелям: «Спать!» — и в доме после переезда, после уборки наставала наконец тишина.

Хорошо было проснуться утром, сознавая, что все сделано и впереди до работы еще целый день.

— Рук не чувствую, — жаловалась Аня, с удовольствием оглядывая свое стерильное царство; все в их квартире она любила. — Ты посмотри, как пальцы опухли. Вот буду сегодня лежать целый день, ухаживайте друг за другом.

Но мысль «чем их кормить?» скоро подняла ее на ноги.

— Напеку я вам оладьев на завтрак.

— Ты же хотела лежать весь день.

— С вами полежишь.

Первой из детей в это утро проснулась Машенька. В рубашке до полу, сонная, глаз не раскрывая, протопала босиком к матери в постель. И только бухнувшись под одеяло, обнаружила отца.

— Ты какой жесткий! Все колени об тебя отбила, — говорила она, умещаясь у него под рукой и ерзая недовольно.

Длинноногая стала дочка за лето.

— Не шурши газетой, я спать буду. Фу! Она керосином пахнет. Зачем ты ее читаешь?

Спать она, конечно, уже не могла и, раскрыв ясные-ясные глазенки — Анины, только веселые всегда, — занялась любимым делом: начала считаться родинками.

— Смотри, у тебя на плече родинка. И у меня тоже. Мы — родные. И вот, и вот. А этой у тебя нет, ага! Это мамина.

Митя услышал их голоса из другой комнаты и появился в дверях босой, волосы после мытья торчком, жмурится от встречного солнца.

— Про что ты ей рассказываешь?

В кровать лезть стесняется: все же большой. А хочется.

— Лезь к нам,— сказал Андрей.

И Митя тут же забрался под одеяло, под левую отцовскую руку.

— И у Димки этой родинки нет! — кричала Машенька.— Ага, ага! У одной у меня мамина родинка. Мы с мамой — родные. А он — не родной!

Они уже затеяли возню, отталкивая друг друга от отца. Как котята. В ушах звенело от их голосов:

— Пап, скажи ему!

— А чего она?..

Он лежал между ними с газетой в руках. Вообще-то надо было позвонить Немировскому, узнать, как все же дела. Еще вчера, едва вошли в квартиру, телефон потянул к себе. Но удержался. Хорошее не уйдет, беда сама разыщет. А портить себе настроение на ночь... Но проснулся с этой первой мыслью. И что-то опять удерживало.

— Э, нет, драться не надо, сын.

— Да? А ты посмотри, чего она!..

— Но ты же старший. Парень.

А зачем звонить? Сейчас ему хорошо. И пусть так будет.

— Лежат!.. Нет, вы посмотрите на них! Я там боюсь стукнуть, звякнуть: спят, думаю. А они вон что, оказывается...— говорила Аня с веселым ужасом в глазах, стоя в двери. Не было для нее на свете зрелища радостней: отец и дети вокруг него.— А ну марш! Чтоб через

пять минут все были умытые. У меня завтрак готов. Быстро, быстро, как муравьи, перетаскать все из кухни на стол!

После завтрака неожиданно явились Анохины: Виктор и Зина.

— А вы знаете что? Нам вдруг идея пришла. Аня, у тебя есть какая-нибудь ваза? — громко говорила Зина, цветами прокладывая путь к миру. — Мы вдруг подумали: а что, если нам отметить этот день?

— ...подумал он, — из-за ее спины подал голос Виктор.

— Виктор, не мешай! И вовсе не он это подумал, а я. Аня, дай же вазу. Или ты хочешь, чтоб я так и стояла с цветами в руках, как... как... — И, застыдясь, выговорила наивно: — Как дурочка?

Совсем это у нее ласково получилось, будто не «дурочка» назвала себя, а «козочка».

— А цветы зачем?

— Вам.

— Нам?

— Конечно!

— Андрей, у тебя что, день рождения?

— Ну как же ты не понимаешь? Если хочешь знать, это даже принято.

— Вот именно.

— Виктор, не мешай! Знаешь, Аня, на Западе всегда приходят в дом с цветами. И надо, чтобы цветов было нечетное число.

Аня пошла на кухню, взяла трехлитровую банку изпод алма-атинских маринованных яблок, на которой еще наклейка сохранилась, налила воды и принесла. Зина даже растерялась, бедная: три ее тонких гладиолуса — нечетное число, — прилично обернутых в целлофан, и пузатая банка с водой.

— Нет, Аня, нет же... Нужно высокую, тонкую. Постой, у тебя же есть хрустальная ваза.

— Это надо искать: я еще не разобралась после переезда. Андрей, пойдй принеси бутылку из-под кефира. И помой заодно.

«Ну язва!» — смеялся в душе Андрей, наливая в бутылку воды.

Цветы Зина установила сама: она знала, как нужно это делать.

— Цветы очень украшают жизнь,— говорила она, расправляя гладиолусы.— Да! Так вот мы подумали с Виктором: надо же как-то отметить окончание отпуска.

— Женщины захотели шашлыки! — вскричал Виктор.

— Все твои женщины сразу? Нет, мальчишки-девочки,— сказала Аня,— мы к концу отпуска не о ресторанах думаем, переходим на подножный корм.

— Мы приглашаем!

— Я вот им сегодня оладьев к завтраку напекла. Кстати, могу угостить.

— Аня, ты не поняла: мы вас приглашаем! Андрей!

— Нет уж, нет уж. Да у меня и дел полно.

— Вот так встречают полезную инициативу,— бодрился Виктор.

Кончилось тем, что мужчины пошли на кухню курить.

— А может быть?

— Да нет.

— Жаль. Вот так и жизнь пройдет, как эти самые... Азорские острова. Где они, кстати?

— Где-то в Атлантике.

— А то все: Азорские, Азорские... А где они? Небось живут себе там, забот — никаких. Ходят все голопузые: тепло, Гольфстрим кругом.

Оба глядели мимо, пепел сигарет поочередно сбивали в раковину.

— Ты не звонил старику? — спросил Виктор.

— Не-а. А ты?

— Нет их никого. Воскресенье, закатились куда-нибудь, чего им? Там же дочь вернулась. С мужем разошлась. Но я думаю, если что, нас бы нашли.

— Должно быть, так.

Виктор открыл кран, сунул в струю воды зашипевшую сигарету. И вдруг поднял глаза. Такие они были томящиеся, жалкие, что-то само шевельнулось к нему в душе:

— Эх ты!..

— Андрюша, признаю!

— А признаешь,— Андрей оглянулся на дверь,— тогда вот что, раз признаешь... Аня правду сказала: холодные олады в самом деле есть.

— Так под холодные еще и лучше,— сразу попал в тон Виктор.

Была открыта дверь холодильника, прямо там, за ней, налито. Виктор смотрел на друга растроганно.

— Андрюша, мы знаем за что!..

Когда в коридоре послышались Анины шаги, оба уже курили с повеселевшими глазами.

— Вам не надоело тут? — спросила Аня, злясь, что он оставил ее вдвоем с Зиной.— Чем это у вас тут пахнет подозрительно?

— Чем?

Оба начали руками разгонять табачный дым. Аня покачивала головой. То самое, что он только что говорил Виктору, сказала она ему сейчас одними глазами: «Эх ты-и...» И пошла открывать дверь: кто-то звонил.

— Борька! — раздался оттуда ее радостный голос.

Вот кому она всегда была рада: Борьке Маслову, самому беспутному из их приятелей. Стихийно талантливому, невообразимо ленивому, вечно неустроенному. Аня была убеждена, что, если бы Борькина жена была человек, Борька уже давно был бы скульптором с мировым именем.

Борька заговорил голосом похитителя:

— Мужа нет?

— Нет мужа! — крикнул из кухни Андрей.

— Бери самое необходимое, бери детей...

— Борька! Ты все грозишься только. Увез бы ты меня от них, закабалили совсем.

— Зачем добивалась равноправия?

— Так они мне все надоели!

— А муж — в первую очередь, — говорил Андрей, выходя в коридор.

— Мы застигнуты! Побег отменяется. Но после всего, что было, я не могу оставить тебя с ним одну. Я тоже остаюсь здесь.

Борька повесил на вешалку свою спортивную куртку, чмокнул Аню в щеку, огромной своей лапицей пожимал руку Андрею и Виктору.

— А ты, кажется, из средневесов переходишь в первый тяжелый вес.

— Мелкая месть озлобленного мужа-мещанина. Пренебрежем.

Аня взгляделась внимательно.

— Борька, у тебя что-то случилось. С Ольгой?

— Как всегда: Брестский мир. — Он оглядывался, ища тапочки. — «И сказал бог: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И за то будут даны тебе тапочки.

— Не будут даны, — сказала Аня. — Иди так, на улице сухо.

— Но микробы! На моих подошвах до двух миллиардов микробов. И все болезнетворные.

— Еще смеяться будет! — Аня открыла дверь в комнату. — Иди!

— Зиночка! И как всегда — прекрасна. Постой, постой: я вижу что-то новое в прическе, что-то новое в лице.

— Оставь, пожалуйста. — Зина застыдилась, как девочка, и рукой на него махнула.

— Изведать неизведанное, изваять неизваянное...

— Ты все обещаешь.

Борька Маслов повалился на тахту, на застонавшие пружины.

— Вот дом, где я дома. Единственный дом на земле.

Аня всплеснула руками:

— Опять!..

— Приму поношение из уст твоих и чарку из рук твоих.

— Да? Можешь не надеяться.

— Ибо не то, что из-уст, а то, что в уста.

— Из рук моих ты получишь сейчас завтрак.

С тем Аня вышла на кухню. Борька подложил себе диванную подушку под шею — он сидел, опершись спиной о стену, — подтянул к себе лежавшую на тахте книгу. Любимое его занятие, любимейшее положение: с книгой на тахте, зажмуря левый глаз. Чаше на боку лежа.

Однажды в момент своих семейных разногласий он прожил на этой тахте не вставая четверо суток. Дети затевали на нем игры, он засыпал под их голоса, просыпался, прочитанные книги шлепались на пол; стопка их под конец сровнялась с тахтой. Разговаривал он с детьми преимущественно кратко: «Приблизьтесь!.. Изыдите!» А они обожали его. И сейчас, едва только голос его раздался, две головы всунулись в дверь: одна над другой. Две пары карих Аниных глаз смогтели на него. Таким от них потянуло теплом, что Борькины толстые губы сами поплыли в улыбке. Но он тут же остановил кинувшихся к нему детей.

— Изыдите, аборигены, с глаз моих. И обследуйте куртку.

А когда дверь за ними закрылась, сказал Андрею:

— Что делается, что делается! Лето не видал — ну, ну! Девка — красавица растет. Еще заплачешься с ней.

— Пока что гадкий утенок,— говорил Андрей обрадованно.

— Помолчи. Твоей заслуги тут никакой. Авторство едва-а проглядывает.

Отвернувшись к окну Зина тем временем быстро начесала челочку перед раскрытой пудреницей. Она, быть может, и помаду обновила бы, но Виктор сказал самолюбиво:

— Ты смотри, что с бабами нашими происходит!

— Виктор! Какие ты пошлости говоришь! Фу!

— Спи спокойно, дорогой товарищ,— заверил Борька.— Разве Зиночка позволит? Зиночка не позволит.

— Вот правильно, Борис,— сказала Зина.

Вошла Аня с подносиком в руках.

— Может, ты все-таки к столу пересядешь?

На красном глянцевоm помидоре дрожали капельки воды, огурец — вчера сорванный с грядки, еще колючий; двумя масляными нерастекшимися желтыми глазами смотрела со сковороды яичница; на пышных оладьях вздувались и лопались радужные пузыри — вот так подавалось Борьке в их доме! Сидя перед всем этим великолепием, он только руками развел и взмолился жалостно:

— Аннушка!

— И не думай.

— Аня! Единственно чтоб оценить.

— Меня нет.

— Не горло зачерствело — душа.

Аня глянула на него, вышла. Принесла в чайной чашке, будто от самой себя тайком, как приносят в кафе, где водку подавать запрещено.

— Хотели провести этот день с детьми. Последний день перед школой. Так вот на тебе...

Борька поднял чашку.

— Тост мой безгласен, ибо чувства слов превыше. Он шумно выдохнул воздух, зажмурился, выпил.

— А этим двум не давай. Творческие работники, им вредно.

— Эти уже сами успели. Пойду поставлю чай.

Андрей следом за нею вышел на кухню. Аня мыла под краном заварной чайник.

— Дурак ты, дурак! — сказала она.

— Ну ты же знаешь Витьку. Надавила Зина на него...

— Надавила... Ведь вот умный человек, а дурак. Дай заварку! Заставить можно того, кто сам этого хочет. Роли у них распределены. За спиной жены удобней. А то бы заставили его, если б не захотел...

— Он и так расстроен.

— Расстроен... Вот Борька никогда не предаст. На, отнеси.— Она сунула ему в руки солонку.

Борька ел, поглядывая сузившимися, смеющимися глазами.

— Аннушка! — вскричал он, когда Аня вернулась.— Да отчего же у тебя всегда так все вкусно? Брось ты его, соединим судьбы.

— Только с моим характером. И буду бегать к ним обеды готовить. Нет уж. Да и пропешь ты меня.

— Не исключено.

— Нет, посмотри, как они! — с глазами, разбежавшимися от любопытства, и явно задетая, говорила Зина.— Аня так ухаживает, так она ухаживает за ним... Лично меня бы Виктор ревновал.

— И здря!

— По крайней мере, мне хоть можно спокойно помирать. Это года два назад, маленькие они еще были,— Андрей улыбнулся,— подходит ко мне Митя: «Пап, а мама от нас не уедет?» И Машенька за ним скрывается. Оба перепуганные.

— Уж твоя безгрешная жена!.. Ладно, благодарности все равно не заслужу.

— Пусть вот им лучше Борис расскажет, как он ге-

неральше цветы подносил,— сказал Виктор.— Расскажи ей, расскажи, а то она мне не верит.

— И не верю! — подзадорила Зина.

Прижав руку к сердцу, Борька молча поблагодарил Аню. На ее: «Чаю?» — покачал головой и снова перелез на тахту, книгу на колени, подушку под шею. Кончилось тем, что Виктор сам при нем стал про него рассказывать.

История была давняя, военных лет. Сбитый в сорок первом году, Борька из госпиталя попал в училище: готовить курсантов. На три его рапорта с просьбой отправить на фронт ответа не последовало. Четвертым рапортом старший лейтенант Маслов добыл себе арест и возможность усвоить на досуге, что своими рапортами он неприлично тревожит совесть старших по званию. Как будто он один хочет на фронт!.. Но родина потребовала, чтоб они здесь, в тылу, ковали победу. Они куют, а он, видите ли, не желает.

Борька это усвоил. Однажды в театре в антракте Борька вошел в ложу, где сидел начальник училища, и почтительно поднес заалевшей генеральше, молодой его жене, огромный букет роз. Так Борька мгновенно был отправлен на фронт.

— Неправда! Нет, скажите, Боря, это правда? — волновалась Зина, при этом стараясь не менять позы, улыбки и выражения лица: ей показалось, что Борька рисует ее.

— Слушай, имей совесть, это же Успенский! — сказал Андрей, увидя, что Борька рисует на обратной стороне обложки: он всегда рисовал на том, что окажется под рукой, а рисунки свои терял.

— Года через четыре...— Сощураясь пристально, Борька взглянул на Зину. Она сидела три четверти, в той позе, которая больше ей шла.— Я «через четыре» сказал? Ладно, не будем мелочиться: через пять лет! Через пять лет Лувр, Третьяковка и Эрмитаж будут

драться за право иметь меня. А ты, обладатель, будешь только говорить: это ранний Маслов.

Он все взглядывал пристально, а глаза у него были невидящие, внутрь себя повернутые. Зажмурился, чтоб увидеть ярче. Некоторое время молча рисовал. Глянул, отдаляясь, захлопнул книгу, спрятал фломастер.

— Что курит пехота? — спросил он Виктора. — О-о! Богато пехота живет. Артиллерия?.. И в артиллерии порядок. А я все тот же единственный сорт...

Он взял сигарету у Виктора.

— Огоньку даст артиллерия.

Зина первой схватила книгу с тахты как ей принадлежашую.

— Чур, сначала я!

Все потянулись смотреть. Борька сидел, опершись спиной о стену. Несколько раз подряд затыкнулся глубоко. Из глаз еще не ушло возбуждение.

— Я думала, ты меня рисуешь, — протянула Зина разочарованно.

На рисунке была Машенька. Но только еще больше, чем в жизни, похожая на мать: Аня Машенькиных лет. Ничего не закончено, отдельные сильные штрихи, но когда Андрей увидел эту кривую родную улыбку, которую, ему казалось, он один знал, и из детских глаз-вишенок Анина душа на него глянула, он физически почувствовал, как его кольнуло в сердце.

— Боря, я хочу быть нарисованной!..

— Нет, откуда в тебе это? — говорил Виктор, не скрывая зависти. — Ведь вот не подумаешь так, а? Со мной в палате два летчика лежали.

— Сейчас будет сказана гадость, — предупредил Борька.

— Ну, летчики, ты же знаешь, Андрюша, аристократия: рис, вино, шоколад, меховые сапоги...

— Ну? — торопил Борька.

— Ранило их. Понимаешь, Андрюша, их ранило.

— Ну?

— А у нас там врач была. Блондиночка лет двадцати пяти, незамужняя, такая, я тебе скажу...

— Виктор! Фу!

— Вот это дрессура! — восхитился Борька.

— Так она говорила про летчиков про этих: «Какие они раненные? Здоровые мужики. Думаете, они на перевязку ходят? Они ходят, чтобы халат мне подать».

— Я вижу, ты там тоже халаты подавал. Вот, оказывается, как вы воевали!

— Зиңушка! Меня возили ногами вперед. В гипсе.

— Ну разве что так только.

— И все дела? Запомни, пехота, и запиши: летчик, умирая даже, встанет и подаст даме пальто.

— Нет, ты послушай, Андрюша, что с ними в обед происходило! Госпитальный обед сам знаешь: жив будешь, а все остальное... Виноват, при дамах умолкаю. А летчики привыкли как? Карманы шоколада насовал — тогда воюет.

— Торгашеская психология. Американцы до сих пор с нас требуют за свиную тушенку, а вы с летчиков за шоколад.

Борька посмеивался, но чувствовал себя беспокойно оттого, что Аня, войдя, взяла в руки рисунок.

— В сорок первом году, когда нас не было в воздухе, вы же землю грели животом. Как воткнулись носом, так и лежали, зажмурясь, пока звук мотора не услышали над собой. Вот когда вы только голову подняли.

— Треплетесь? — сказала Аня. — Эх вы, друзья! Он годами пловчих лепит и пионерчиков с горнами, а вы треплетесь. Да он талантливей вас обоих. Свиньи вы, а не друзья!

— Аннушка... — Борька давил в пепельнице окурочек, был он растерян и смущен. — Они, конечно, свиньи, само собой, но ты уж очень меня трактуеть с излишествами.

— И ты тоже... Как будто тебе вторую жизнь дадут.

Аня вышла рассерженная. Даже покраснела.

— Ну, знаешь, Андрей! — Зина была возбуждена. У нее было выражение человека, который только что такое увидел, такое увидел... — Нет, я лучше ничего не скажу. Но Виктор бы меня уж ревновал!

— Вот что, ребята, все это хорошо, но я-то к Андрюхе по делу шел. Не знаю, может, это все раньше времени. — Борька чего-то мялся. — У нас же в провинции слухи — как эхо в горах.

Теперь его торопили:

— Ну!

— Ты говори, в чем дело?

— Ребята, толком ничего не известно. Но что-то вокруг вас происходит. Какое-то шуршание. То ли борьба с излишествами опять началась, то ли еще что.

Вот теперь Андрей почувствовал, как у него сердце упало. Видно, так: чтоб оценить, надо потерять.

— Кто тебе говорил?

— В том-то и дело, что никто ничего не говорит. Ну, вы сами знаете, как это бывает. Немировского видел, какой-то пришибленный ходит. Мне, сами понимаете, спрашивать неудобно.

— Та-ак, — сказал Виктор, и ничего, кроме растерянности, это его «так» не означало. И как всегда в такие моменты, он снял и начал старательно протирать очки. На одно стеклышко подышал, на другое.

— Ребята, вы на меня не обижайтесь.

— При чем тут ты?

— Я должен был сказать.

— Чувствовал я, — говорил Андрей. — Слишком все шло хорошо.

Борька глянул на дверь, в которую ушла Аня, сказал, понизив голос:

— Ну, вы не кричите раньше-то времени.

— Что ж, Витя, будем упираться.

Глаза Виктора слепо щурились.

— Думаешь?

Надел протертые очки, стекла их отблескивали на свету. Сказал без всякой твердости:

— Я — за!

Но тут заговорила Зина:

— Я не знаю, почему ты сразу и всегда за? Виктор, я не люблю, когда ты обижаешь людей.— Капризный голос ее накалялся.— Нехорошо обижать людей. Слышишь? Я не хочу! Не хочу и не хочу!

И хоть оставалось непонятно, каких людей обижает Виктор, общий смысл ее выступления был ясен вполне.

## ГЛАВА XI

Пока им еще не дано было узнать, что же все-таки произошло. Потом стало известно, что Немировский — вот уж от кого и ожидать было нельзя — вдруг развевался старик, поехал к самому Бородину и будто бы там был у него разговор. Во всяком случае, секретарша его Полина Николаевна в этот день пила валериановые капли и под большим секретом и, уж конечно, не всем сообщала, как Александр Леонидович сказал и заявил. А Немировский ходил с видом человека, решительно подавшего в отставку. И только Лидия Васильевна, жена Александра Леонидовича, она лишь одна видела в его решительном взгляде испуг и немой вопрос.

Прожив с ним целую жизнь, Лидия Васильевна так и не научилась разбираться в той далеко вверх уходящей лестнице, каждая ступень которой была для него, служащего человека, исполнена особого значения, смысла и интереса. Ничего она в этом не понимала, но, как мать с ребенком, была душой связана с ним, и всякий раз в ней отдавалось, когда он больно ударится или его обидят. Он глядел победителем, а ей от предчувствия дальнего было страшно за него.

— Ну, что будем делать? А? — спрашивал Виктор. Ему словно на затылок надавили, весь пригнулся, и снизу вверх, как из-под порога, выглядывали томящиеся глаза. И жег сигарету за сигаретой, весь дымом напитался в эти дни.

— А ничего не надо.

Виктор сильнее сосал сигарету, сощуренные от дыма глаза блестели, упершись в свою мысль.

А тут еще выясняться стало, что не вообще все отменилось, строить будут, но поставят пятиэтажные дома. А они с Виктором останутся авторами проекта. Главными, как это называется, его архитекторами.

— Как думаешь, а?

— Ви-итька!.. Ну это унизительно даже. Это все равно как Соловьеву-Седому...

— Ну, Соловьев-Седой!

— Ну не Соловьев-Седой, поменьше кто-либо. Кто за всю жизнь одну песенку сочинил. И скажут ему: «Нет, вы лучше-ка перепишите своей рукой «Катюшу», и у нас в городе она будет считаться вашей».

— Выбиться из этого положения. Из этого чертова положения! — Виктор от сигареты прикуривал сигарету. Вдруг глянул жалко.— Не будет понято, Андрюша. Не так поймут!

Что тут сказать? Витьку жаль, но и себя жаль тоже. С бедой надо переспать. И ничего умней тут не придумаешь.

Наконец их пригласил к себе Немировский. Стоя и не предлагая садиться, сказал не без торжественности:

— Я сделал все что мог!

И взгляд: надеюсь, вы знаете о моем разговоре?..

И жест руки, бросившей козырную карту на стол.

— Есть этика.— Александр Леонидович застегнул пиджак на обе пуговицы.— Я не могу говорить все. Но вы вправе решать, как сочтете нужным. Да, как сочтете нужным!

Чёртова привычка видеть все со стороны! Андрей сдержался, чтоб не улыбнуться, хотя, по сути дела, тут плакать впору. Как будто двух послов пригласил и объявляет им о начале войны и о том, что его симпатии на их стороне. Начало военных действий местного масштаба. Но это масштаб их жизни. И другой дано не будет.

Вышли как с собственных похорон. Меньше всего им хотелось сейчас собирать сочувствие. Но к ним уже потянулись изо всех комнат на общий перекур. В первых, самых первых вопросах еще была надежда; хоть и знали уже, а все-таки:

— Ну что?

— Как?

— Ах, как это ужасно!

— Но, главное, зачем? Кому от этого польза?

А за всем этим у каждого — стыд за самого себя. Что вот ты понимаешь, видишь и бессилён сделать что-либо. Сразу же начали возникать проекты один другого смелей: куда пойти, что сказать. Словно бы высказался вслух — и уже что-то сделал.

Они стояли в коридоре, сбивали пепел сигарет в фаянсовую белую урну, а все обступили их, будто к стенке приперев. И тут подошел Елифанов, старый, пьющий, сильно бездарный архитектор, при котором обычно разговаривали только о погоде, да и то в урожайный год. Подошел, демонстративно молча пожал руки одному и другому и, совершив этот гражданский поступок, удалился, гордо неся свою усохшую лысую голову с припудренным губчатым носом. Всем отчего-то стыдно стало. Будто он их изобразил этим своим одушевлением. Кто-то пошутил от неловкости:

— Состоялся исторический рукопожим.

И другой сказал:

— Как говорится, извините за компанию.

А что скажешь кроме? Хорошо, хоть юмор не увядаёт, с ним все же не так стыдно жить на свете.

На улице Виктор говорил хмуро и деловито:

— Дожили: Епифанов сочувствует нам. Нет, Андриюша, дешевой славы нам не надо. Чтоб подходили руки жать. Чтоб всякая шушера вертелась вокруг.

— Противно.

— Вот именно. Вот именно, противно. Это ты хорошо сказал. Думаешь, раньше они радовались за нас? «Да, да, конечно, но вот Ямасаки...» Им все Ямасаки подавай, снобы проклятые. А теперь нас поливать будут. Успеха, Андриюша, никто никому не прощает.

— Какой уж тут успех? Успех...

— Зина — умная женщина, она права: у нас друзей нет. Все злые, все завистники.

Андрей вдруг увидел на той стороне улицы за встречно движущимися троллейбусами бар: мелькал, мелькал сквозь их окна кирпичный угол дома и дверь. Тот самый бар, кафе-молочная, где они сидели с Виктором. И так все остро вспомнилось, как будто из другой жизни. А он еще тогда расстраивался, что не дадут сделать лучше, смелей. Вот уж правда: что имеем, не храним, потерявши — плачем.

— Нет, но я вот беру себя... Неужели не стыдно хотя бы?

— Андриюша, перед кем?

— Да хоть перед нами.

— Не говори наивные слова! Кто мы? Ты же сам говорил, про нас пока что и речи нет.— И тут Витька сказал правильную вещь: — А если стыдно перед нами, так это только хуже для нас.

Это уж точно: не дай бог, если начальству стыдно перед тобой. Такому подчиненному не позаидуешь.

— Нас нет, но мы можем быть. И упускать такой случай...

— Витя, какой ценой?

— Но что же делать, что делать? Не мы, так другие

найдутся. Если б можно было... А то ведь все равно другие сделают, пойми!

— Вот и пусть.

— Все уступить другим?

— Да что уступить? Позор? Витя, это все минет. Лет пять пройдет — и не вспомнят, кто приказал, зачем, почему. Еще и смеяться будут. А землю испохабим.

— Пять лет... Их надо прожить!

— Нам по сорок уже.

— Вот именно. Вот и именно!

— У меня сын растет. Чтоб я стеснялся пройти с ним по городу? Или чтоб он стыдился отца? Кто это, мол? «А это мой отец руку приложил...»

Мимо на мощных скатах ползли груженные глиной «МАЗы», оглушали ревом моторов. И у людей, стоявших под светофором, лица были напряженные, а они двое почти кричали друг другу.

Дали зеленый свет. С двух тротуаров устремился народ навстречу друг другу. Андрей внезапно почувствовал, как кто-то жметя к нему в толпе. Старушка, очень приличная, оглядываясь на выстроившиеся в ряд, вздрагивающие радиаторы машин, испуганно жалась к живому человеку.

Едва перешли на другую сторону, едва ступили на тротуар, старушка и не оглянувшись, засемила, засемила, побежала, деловая городская жительница, которой всюду надо поспеть.

— Витя, плюнем,— сказал он, жалея Виктора: у то ведь и тыл не защищен.

Аня сразу, как только узнала, сказала ему: «И плюнь!» Но за спиной Виктора — Зина.

— Да, плюнешь...— сказал Виктор убито и сбоку глянул на него.

Неужели не понимает Андрей, что двери, которые распахнулись перед ними, второй раз не откроются?

Захлопнутся — и как отрубят. Будешь потом всю жизнь снизу вверх поглядывать на тех, кто не побоялся.

— Ну хорошо, проявим геройство...

— Да какое геройство? Геройство...

— ...проявим, хорошо,— говорил Виктор с обидой в голосе.— Думаешь, нужно это кому-нибудь?

— А мы сами перед собой?

— И не вспомнят даже, ты прав. Андрюша, им терять нечего! Хоть тому же Немировскому. Что ему терять, он жизнь прожил.

— Витька!

— Или этот... Руки подходил пожимать. Бездарен, как лысый пень. А нам талант похоронить? Обречь себя на творческое молчание? Какая от этого польза? Если даже по-государственному взглянуть?

Грустно было сейчас смотреть на Витьку.

— Талант, который не реализовался, это не талант. Ну что сделаешь, приходится чем-то жертвовать во имя главного. Не ради себя! — вскричал Виктор, не давая себя перебить.— Быть только хорошим — это кто больше ничего не может. А мы можем, Андрюша. Пусть только дадут. В чистом виде добра не бывает. Это правильно кто-то сказал: добро должно быть с кулаками.

— Так тогда уж лучше с финкой. С ножом!

— Не бывает добра в белых перчаточках...

— Витька, милый, не выйдет. Не мы первые. Сначала жертвуют во имя главного, а потом и тем, во имя чего жертвовали. У этого пути конца нет. Сколько люди живут на свете...

— Обожди. Да почему? Ты смотри, Андрюша... Мы согласимся. Допустим! Подожди! Согласимся! Ну? Ну что это в масштабе вселенной, в конце-то концов?

— Нам еще только вселенную запакостить.

— Ну, не до конца. Не целиком. Просто проявим понимание. Ты же сам говорил...

— Витя, где та последняя черта, до которой еще

можно, а дальше уже — все, нельзя? Ведь это как горизонт: удаляется по мере приближения.

— Да что нельзя? Чего нельзя? Все равно ведь построят, что решили. Так что нельзя?

— Через совесть свою переступать нельзя. Ну что я тебе такие вещи говорить должен?

— Что мы, Наполеоны? Жизнь, смерть зависит от этого?

— И я говорю: не жизнь зависит. Ну чего уж мы так будем? Чего боимся? Блага потерять?

— А что изменится?

Он видел сейчас в Викторе готовность к унижению и боязнь стыда. Но если не они друг другу, так кто же еще скажет им?

— Мы изменимся, Витя. И не воротишь.

Сами того не замечая, они вновь и вновь кружили по тем же улицам, стояли под теми же светофорами, пережидая поток транспорта.

Один раз попали в толпу: кончился дневной сеанс в кинотеатре «Спартак». Это был единственный кинотеатр, уцелевший в войну. Восемьдесят с лишним процентов города было разрушено, лучшие здания погибли, а этот кремовый торт стоит. И все так же с вещими трубами летают над его входом алебастровые амурчики, молочные, все в складочках. И вьются над ними алебастровые ленты. Живуче уродство, все переживает: и людей и войны.

Оттуда-то, из-под амурчиков, валил народ, жмурясь на свету, веселый, шумный. Странно это видеть — не изменившийся мир, когда с тобой случилось. Но Виктору он сейчас об этом не сказал. «Вот именно!» — воскликнул бы тот.

И так же, как они кружили по улицам, так же по кругам шел их разговор. Казалось обоим, что, в сущности, ничто не разделяет их, немного еще — и они

поймут друг друга, как понимали всегда. А уже каждый начал свой путь. И эти пути никогда не сходятся.

Как бы между прочим, но приосанясь вдруг и тем подымая разговор на иной уровень, Виктор сказал:

— Видишь ли, Андрюша, меня тут вызывали...

И помолчал значительно, углубясь в себя.

— Пригласили меня, одним словом...

— Куда? — спросил Андрей.

Оба отчего-то пошли медленней.

— В общем, был у меня на этих днях доверительный разговор. С Алексеем Филипповичем. Не только он присутствовал...

После уж вспомнилось, и вспоминалось не раз: и тон, каким это было сказано, и слова. Не «Бородин», не «мэр»: «С Алексеем Филипповичем...» Но в тот момент у Андрея словно отшибло способность понимать.

— С кем, с кем у тебя был разговор?

Ведь надо было поверить в самую возможность, что Виктор сделал что-то втайне от него. А этого допустить он не мог, потому что тут кончалось главное. И он улыбался, глядя на Витьку. Но тот говорил уже покровительственно, как старший:

— Нам доверяют, в целом пока доверяют. Вот какое убеждение я вынес из разговора. Это главное. Понимаешь, Андрюша, надо. На-до. Это тот случай, когда мы должны.

Они все еще шли в ногу. Шаг в шаг.

— Значит, ты разговаривал с Бородиным?

— Да. Состоялся большой творческий разговор.

Виктор так слушал себя, так себя он видел сейчас, что и не заметил перемены, происшедшей с ним рядом.

— Ты, значит, ходил к нему?

— Меня пригласили.— Именно на такой формулировке настаивал Виктор.— Бывают обстоятельства, когда приходится поступаться личным. Как говорится, на горло собственной песне...

— Ты что же, от нас двоих там? И вообще я не понимаю, как же ты один?..

— Видишь ли, Андрюша, для пользы дела... Ну как тебе объяснить? Двоих — им было неудобно.

— Постой, когда это было?

Позавчера в перерыв он встретил Виктора в коридоре. Они всегда ходили обедать вместе, а тут Виктор спешил куда-то один и был переволнован. «Зинушка, пони-маешь...— забормотал он как застигнутый.— Ну, в общем, бабские дела». Андрей посмеялся только: «Эх ты, подкаблучник». Это было именно тогда, он понял сейчас. И не к Зинушке отпрашивался Виктор с работы.

— Когда это было? — повторил Андрей.

— На этих днях. Не в том дело...

Да, это было в тот день. Оттого он и спешил и проскользнуть стремился. Почему-то мелочи задевают больней всего. Главное не уязвит так, как может уязвить мелочь.

— Значит, тебя пригласили — и ты пошел? — Андрей говорил тихо.

— Андрюша, обожди. Ты не так меня понял! — Виктор уже пожалел, что сказал.— Ты меня знаешь. Со мной ведь не так просто. Я им сказал сразу...

— Это твое дело, что ты сказал.

— Нет, но мы же вместе...

— Твое дело!

Андрей опять видел в нем готовность к унижению и убыстрял шаг.

— Ты не так расцениваешь. Я просто думал, что из тактических соображений...

— И это меня не интересует.

Потом они шли молча. И разойтись в стороны еще не могли, и говорить было не о чем. Но мысленно они говорили сейчас. И шли рядом. Получалось так, что Виктор, как виноватый, провожал его. У трамвайной остановки Виктор сказал:

— Нам еще надо поговорить.

Сказал как попросил.

— Да, надо.— Андрей старался не встречаться глазами.

Дома он не стал ничего рассказывать Ане. Он знал, она скажет: «А что я всегда говорила?»

Обычно после так называемых семейных общений, наслушавшись Зининого щебетания, натерпевшись, Аня говорила: «Почему я должна нести этот крест? Должна, должна, а почему?» Он отшучивался: «Мы своим друзьям жен не выбираем. А то бы пришлось отдать тебя». — «Не подлизывайся!» — «Нам с Витькой скоро серебряную свадьбу справлять — вот сколько мы дружим». — «И дружите на здоровье! Но почему я должна? Помоему, вам вполне хватает вас двоих. И вообще, знаешь, я ее боюсь. Я тебе серьезно говорю. Это электрическая дура». — «У каждого века свои дуры. Дуры каменного века, дуры электрические, электронные, кибернетические. Можно провести исследование: «Дуры разных веков...» — «Но если он ее терпит... «Зина — умная женщина!» Если он все это способен терпеть, он точно такой же. Ты знай! И ты еще увидишь».

В их дружбе она чутко регистрировала малейшее отклонение. Стоило Виктору схитрить — и она уже ревниво переживает за мужа: «Ну что? Опять слаб трахмал?» Был старик маляр, покойник уже; всю жизнь клеил обои, и всю жизнь они у него вздувались пузырями. Объяснял он это тем, что нынче и крахмал делать разучились: «Слаб трахмал». Так это «слаб трахмал» и осталось в семье на все случаи жизни.

Но хоть он и не рассказал Ане, на следующий день она все уже знала. Вернувшись с работы, он сразу увидел это. Как всегда, она сидела над ученическими тетрадками: слева стопа непроверенных сочинений, справа — проверенные. Сорок два ученика в ее восьмом «А», сорок два раза прочесть одно и то же. Иногда до полу-

ночи сидит, слепнет, пока две стопы тетрадок не соединятся в одну. Обычно она выписывала фразы из сочинений, читала вслух: «Добролюбов в нецензурных выражениях звал Русь к топору». Дети обожали это. Но сегодня не до фраз было, не до смеха. Взволнованная — щеки порозовели, глаза блестят, — она читала с поразительной быстротой; это скопившаяся в ней энергия гнала ее.

— Ужинать будешь?

Не хотелось ему сейчас этого разговора, совсем не хотелось. Но, видно, не миновать. Аня поставила перед ним тарелку.

— Ну?

Он молча ел.

— Что я говорила? Что я тебе всегда говорила? Нет, пойти тайком, одному...

— Перестань!

Но Аня от обиды за него, которую пережить не могла, его жалея, на него же и кричала теперь:

— Малой доли ты не знаешь, что он там говорил! И что скажет. Это теперь твой первый враг, знай! Потому что не ты, а он подлец оказался. Он им всегда был, только ты был слеп. Ничего для тебя не существовало. Весь опыт человечества — ничто!

— Перестань!

— Они мне гадки! Гадки и омерзительны! Всегда, во всем — только своя выгода. И другом он тебе никогда не был.

Человечество, которое живет на свете не первое тысячелетие и ошибалось не раз, могло бы сказать ему из своего опыта: «Умей прощать близких, даже если они не правы: не они твои враги». Но он вдруг как на врага закричал на жену, которая его любила, для которой его боль была большей своей. И кончилось тем, что Аня забрала свою подушку и одеяло и ушла спать к детям. И дети, напуганные, притихшие, жались к ней там, в

темноте, ее жалели. И перед этим он был бессилен. Что бы он ни делал сейчас, в глазах детей он был виноват. И за это он еще больше ненавидел ее сейчас и, если бы не дети, ушел бы из дому.

А потом, среди ночи, сидел на диване, курил и мучился.

## ГЛАВА XII

Какое-то время еще продолжала действовать сила инерции: «Андрей Михайлович? Минуточку, минуточку...» Все очень респектабельно, доброжелательно, в меру солидно: говорят с человеком, который принят. Но проходила минуточка — и голос делался неузнаваем: «Ивана Федоровича нет. Нет... Не знаю... Не могу сказать...»

Он уже знал, что «нет» — это не вообще нет, а для него нет. До холодного бешенства иной раз доводил его этот металлический голос в трубке. Его уже и узнавать перестали: «Кто? Не понимаю — кто? Громче говорите, вас совершенно не слышно...»

Они умели быть жестокими, эти опытные в жизни дамы, заслоном сидевшие на всех этажах, стрекотавшие на машинках со скоростью трехсот знаков в минуту, эти модные девочки в сапожках на длинной молнии, цена которых едва ли не превышала их зарплату.

Однажды в коридоре исполкома он встретил Виктора Анохина. Он ждал нужное ему должностное лицо, курил в маленьком закутке (когда-то тут был холл, но со временем его застроили для новых служащих, и остался вот этот закуток) и вдруг увидел Виктора и то лицо, которое он поджидал. Оба свежеподстриженные в исполкомовской парикмахерской, с одинаковыми кулками в руках, они шли по коридору, беседовали, наклоня головы. У обоих было то выражение, в котором рав-

но соединились непреклонность к нижестоящим, готовность и почтительность к тем, кто поставлен выше. И достоинство. Особое достоинство: в осанке, в поступи — во всем. Не твое личное, а достоинство учреждения, которое ты представляешь в своем лице. Они прошли мимо, и протянулся за ними по воздуху запах парикмахерской, одеколona «В полет!».

Когда Андрей уже и надеяться перестал, ему вдруг было сказано, что Бородин примет его. И время назначили: в тринадцать часов в среду. Без десяти час в среду Андрей был в приемной. Дежурил Чмаринов. Как на что-то мелькавшее здесь в коридорах, чего и не упомнишь хорошенько, взглянул он на Андрея и продолжал накручивать телефон.

— Мне сказали вчера, что в час дня Алексей Филиппович примет меня,— объяснил Андрей свое появление здесь.

— Сказано — ждите.

Андрей сел. Кроме него и Чмаринова был здесь еще исполкомовский служащий, явно без дела. Ему-то Чмаринов рассказывал, как на этих днях выдавал дочь замуж, где свадьба справлялась, кто был. И все это были люди значительные (вот какие люди почтили его!), к именам-отчествам их, как звание, добавлялось небрежно «большой души человек», «исключительно душевный человек» или просто «душевный человек», «человек с душой». Тоже своего рода табель о рангах.

Прошло десять, прошло двадцать минут. Слишком уж как-то спокойно было в приемной. Даже телефоны почти не звонили. Не чувствовалось того напряжения, какое бывает здесь, когда начальство за той дверью.

Чмаринов теперь уже перечислял, что и кем было подарено молодым: обстоятельно, подробно, ни один подарок не забыт. У Чмаринова белые манжеты выпущены так, что и запонки крупные видны, галстук прихвачен заколкой, седоватые волосы расчесаны с водой и

кок не явный. А белки глаз розоваты, взгляд влажен, и рука едва заметно вздрагивает: недавно была свадьба.

Сколько раз говорил себе Андрей, что не может его оскорбить отношение человека, которого он не уважает. На той шкале измерений, с которой единственно сверялся, каждого соотносил Чмаринов, свои были приняты масштабы, свои ни на что не похожие расставлены деления. Вот и сиди жди. А в душе накалило.

Открылась дверь. Вошел Дятчин. Все поднялись. Андрей видел, что он не попадает в поле зрения строго перед собой направленного взгляда. И тут тоже были свои понятия: не вошедший здоровался первым, а нижестоящие.

В новом костюме, выше ростом и шире в груди (только ботинки все те же растоптанные, с белыми разводами у самого ранта, словно соль выступила: промочил он их, что ли?), Дятчин задал два-три вопроса: «В шестнадцать тридцать совещание не отменено? Товарищи по списку оповещены все?» — и на все Чмаринов ответы дал точные, самые исчерпывающие.

Стоял Дятчин, стояли все. Сидеть одному — глупо как-то, по-мальчишески, вроде хочет доказать... Но еще глупей стоять вот так, когда тебе даже не кивают.

Вдруг Дятчин вполборота к нему спросил строго: — А товарищ кого ждет?

Как об иностранце, который языка не понимает (да нет, к иностранцам бы все почтение!), как о глухонемом при нем же сведения о нем запрашивает. А уж чтобы по имени-отчеству или по фамилии обратиться... Хоть сжало у Андрея внутри, как будто ухнул в глубину, ответил он вежливо, спокойно:

— Мне назначено к тринадцати часам, — и вот теперь встал.

В толстых стеклах очков Дятчина кругами слоился

свет и отражались два матовых потолочных плафона. Не дослушав, Дятчин повернулся к помощнику:

— Что, Алексей Филиппович обещал сегодня быть?

— Нам ничего не известно...

Себя Андрей сейчас не видел, но Дятчин, глянув на него, заговорил вдруг мягко, увещательно: действительно, на сегодня Алексей Филиппович назначил несколько товарищам, но еще вчера стало известно...

— Вам надо было прежде позвонить, уточнить... Что же вы не предупредили товарища? — выговаривал он Чмаринову.

Он что-то говорил еще и снова Чмаринову выговаривал.

— Товарищ не спрашивает ничего, — железно стоял тот.

И долго еще Андрей не мог об этом вспоминать спокойно. Понимать-то он понимал, что это Чмаринов давал ему образование — так-то, мол, кто гордится, — но думать об этом спокойно не мог.

Он позвонил Смолееву и неожиданно для себя на следующий день был принят. Впервые Андрей входил в кабинет, который, впрочем, знаком был ему зрительно: деревянные панели по стенам, письменный стол в глубине, торцом к нему стол для заседаний, два ряда стульев, книжный шкаф. Смолеев пригласил его за низенький стол у окна. Сели друг против друга, сюда же им принесли чай в стаканах.

Искрился на свету хорошо заваренный чай, лимон в блюдечке зеленоватыми кружочками, конфеты шоколадные, сушки. Для начала было сказано несколько необязательных фраз.

— Игорь Федорович, вот вы меня приняли. — Жестом руки Андрей обвел стол и все, что на нем. — Никто не ищет себе хлопот, я знаю. Так разрешите быть откровенным.

— Разумеется.

— Я уж не знаю, как начать, потому что проговорено не раз. С самим собой, к сожалению. Вот что получается: чем равнодушной, тем и тебе выгодней и людям спокойней. Это как Талейран наставлял молодых дипломатов: «Главное — не проявлять инициативы». Точно про нас. Ведь нам, архитекторам, и платят за должность. Хоть во всю жизнь ни одного проекта не создай.

Ему показалось, что Смолеев что-то хочет сказать, и он поспешил, пока его не перебили:

— Да нет, Игорь Федорович, я понимаю. Я даже доказать могу, что их надо строить. Тут все высокие слова наготове. О самоотречении зодчих ради того, чтоб решить проблему массового жилищного строительства. Об умении пожертвовать своим творчеством, общественным престижем, о гражданском подвиге архитекторов... Слова эти я знаю. Но не нужно ничем жертвовать, нет даже такой экономической необходимости. Дороже они выходят, эти пятиэтажные бараки, дороже, если все подсчитать. Вот расчеты, посмотрите сами.

Смолеев смотрел, слушал. Отхлебывал горячий чай. Он знал примерно, с чем идет к нему этот человек, что говорить будет. Но что для Медведева было главным из главных, заслоняло все на свете, для Смолеева было одним из ряда дел.

Знал Смолеев, что не с легкой душой расставался Бородин с проектом микрорайона, которым уже хвалиться начал. С ним связаны были у «мэра» собственные честолюбивые мечты: новый район лежал на въезде в город с аэродрома... Не в возможностях Смолеева изменить сейчас что-либо: на то имелось много причин, которые он не мог объяснять.

В конечном счете, что бы ни делали люди, жизнь движется по равнодействующей сил. Тут ее путь пролегал. Но до этих пор каждый тянет ее в свою сторону, каждый по-своему направить норовит. Наверное, потому ни одной своей цели люди не достигали, как было заду-

мано: путь лежит по равнодействующей, а цель намечает каждый свою. И еще то свойство есть у жизни, что даже неправильное поначалу решение она все равно обкатает по-своему. Но он слушал Медведева с интересом.

Перед ним был человек, в котором сильней личных выгод заложено стремление сделать то, к чему он призван. Может быть, в этом и состоит смысл жизни: осуществить заложенное в тебе природой. Такие люди движут жизнь. И движут бескомпромиссно.

— Я видел ваши работы,— сказал Смолеев, сломав сушку в руке.— Я мало разбираюсь в архитектуре... (Тут Андрей подумал: «Устраняется или не боится признать?») Жена у меня... Не знаю, может быть... Во всяком случае, она считает, что разбирается. Мне было интересно.

— Какие работы! — сказал Андрей.— Сам бы я хотел свои работы повидать. У архитектора одна молитва во всякий день: боже, дай...— Хотелось сказать: «Дай умного заказчика», но обидеть побоялся и сказал так: — Дай заказчика, который бы стоял на уровне своего времени.

Однако Смолеев понял.

— А вы не тактик,— сказал он.

Вот и этот про тактику.

— Нет, не тактик,— сказал Андрей, вздохнул и закрыл блокнот.

И тут они встретились глазами, и заглянули друг в друга, и поняли больше того, что было сказано до сих пор.

— А нужно ли, Игорь Федорович? — сказал Андрей, обезоруживая улыбкой, ею же и обороняясь.— Все хотят приспособить тактику себе на службу, а кончается тем, что она приспособливает человека. И уж где тут принципы, где что?

Откинувшись на спинку кресла, Смолеев смотрел словно издалека. Ни по лицу, ни по глазам ничего не прочесть сейчас.

— Что из архитектуры последнего времени нравится вам? — спросил он.

Это началась заключительная часть беседы.

Андрей положил блокнот в боковой карман.

— Да много есть... Вы разрешите курить?

Смолеев подвинул пепельницу:

— Курите.

И, доставая сигарету, прикуривая, Андрей говорил:

— У финна одного...

— Сааринен?

Ну, правильно. Если финн, так уж обязательно Сааринен. Японец, так уж наверняка Ямасаки.

— Нет, другой. Даже не здание само по себе, а вот сосна столетняя. Почти что в метре от угла здания растет сосна. Он не тронул ее. Пока строил, досками обкладывал. Вот это архитектура нашего времени. Знаете, про кукушку рассказывают, как она подкладывает яйца в чужое гнездо. А потом вылупится кукушонок и всех птенцов по-одному повыкидывает из гнезда. Вот так и мы, люди, с природой поступаем.

Для Андрея дальнейший разговор уже не имел смысла, он ждал, когда удобно будет встать. А Смолеев, глядя на него, думал не впервые о том, что способности и умение пробиваться в жизни, занять положение — это дается человеку, как правило, в обратной пропорции.

— Что бы вы хотели построить?

— Да уж хотел...— Андрей потушил сигарету, встал.—Виллу, Игорь Федорович, виллу.

— Ну, я не думаю, что у вас тут найдутся заказчики,— сказал Смолеев холодно.

— Да я ведь серьезно. Мечта каждого архитектора — хоть раз в жизни построить виллу. Вы поглядите, сколько земли у нас пропадает. Газ прокладывали —

пол-леса раздавили. Богаты слишком, оттого и не бережем. А отдыхать — все на заплыванный юг устремляются. Да в нашей средней полосе... Я и овраг уж присмотрел. Наполнить — такое будет озеро! И дом отдыха поставить на берегу.

— Ну, не с первого толчка, — сказал Смолеев, прощаясь. — Когда есть цель, должно быть и терпение.

— Терпение... Терпение есть. — Андрей улыбнулся, потому что хотелось ему сказать: «Терпение-то есть, жизни бы хватило».

Но он видел в Смолееве участие, видел, что этот человек расположен к нему. И уж за то был благодарен.

### ГЛАВА XIII

Зима в этом году была поздняя, слякотная. Несколько раз ложился снег и вновь таял, под колесами машин превращаясь в грязное месиво. Погода стояла самая гриппозная. Где-то в глубинах Азии, на каких-то ее островах, зародился новый, еще неведомый вирус и со скоростью реактивного самолета вместе с людьми, в них самих, перелетал океаны и континенты, распространяясь по всему свету. Разделенное границами и предубеждениями, барьерами языковыми, расовыми, классовыми, человечество дышало одним воздухом, болело одними болезнями. Не ведавший теорий и сомнений мудрецов, гриппозный вирус с первобытной простотой размножался в крови всех народов и рас, равно себя в ней чувствовал, тем самым говоря человечеству, что оно — едино.

Очень в эти дни ждала Аня морозов, очень в них верила. Уже в аптеках города стояли долгие очереди, а кассирши и продавцы повсеместно работали в марлевых повязках, уже половина детей в ее классе болела, но Митя и Машенька держались. И вот подморозило, подсушило асфальт. Повалил снег крупными хлопья-

ми — на голые железные крыши, на шапки и спины людей; в кружащемся снегу зажглись фонари. И чисто среди ночи, светло, бело было в городе. К утру мороз окреп, в огромных серых дымах над трубами ТЭЦ красное встало солнце. Звучно хрустели снежком прохожие, пар валил у людей изо рта, сильней запахло теплым хлебом из булочных. Как в шубу, город влез в зиму.

Вернувшись в десятом часу, попахивающий вином и потому с шоколадными «Мишками» в кармане — две для Ани, по одной детям, — Андрей застал дома то, что у них называлось «великим переселением народов». Мимо него с подушками и простынями, обдав ветром, прошла по коридору Аня: это в большую комнату перенесли Митину постель. Значит, заболела Машенька.

Аня считала, что разделять детей бессмысленно: все равно заразятся друг от друга, пусть уж отболеют разом. Но в последний момент все же отделяла здорового.

— Это ты все с работы шел?

— Понимаешь, Борьку встретил...

— У Машеньки тридцать девять и шесть. Я голову потеряла. Хоть бы позвонил. Ведь трубку снять.

Задерживая дыхание, Андрей заглянул к дочке. Машенька сидела в кровати, свет настольной лампы, направленный от нее, блестел в черных стеклах незашторенного окна.

— Что все говорят: больна, больна... Ничего я не больна.

А голос плачущий, а глазки от температуры масляные.

Обычно к заболевшему переселялась мать. Но в этот раз, искупая вину, Андрей остался ночевать с дочкой.

— Болеть, если хочешь знать, тоже приятно, — утешал он Машеньку тихим голосом. Всякое проявление жизнерадостности в такой момент было бы названо Аней «оптимизм от рюмки водки». — Болееешь — все тебя любят, в школу ходить не надо... Я, когда учился,

любил болеть. Только вот не получалось. Ребята пропускают, а я все в школу хожу.

— Ты обещаешь, что разбудишь меня в школу.

— Договорились. Только и ты дай слово: если что понадобится, будишь меня.

Он лег с намерением караулить Машеньку. Зачем это нужно, он, честно говоря, не понимал. Аня умела спать и все слышать: стоило ребенку пошевелиться, она уже поднимает голову с подушки, вглядывается трезвыми глазами. Сегодня он был вместо нее, значит, должен все точно выполнять. И не заметил, как заснул.

Проснулся он от странного, страшного звука: там, где была кровать Машеньки, слышалось хрипение. Опрокинув что-то в темноте, включил лампу. Желтый свет ослепил на миг. Машенька стояла в постели длинная, в длинной рубашке, и, вздергивая плечиками так, что проваливалось под ключицами, силилась вдохнуть, вся красная, уже начинавшая синеть.

— Только не бояться, только не бояться! — зачем-то схватив ее на руки, говорил он, сам леденея от ужаса.

Но уже бежала сюда Аня, на бегу не попадая в рукав халатика.

— Окно! — И выхватила у него ребенка. — Настежь! Морозный воздух дохнул в комнату.

— Ты дышишь! — говорила Аня сердитым голосом. — Чего ты испугалась? Дышишь. Иначе бы ты задохнулась давно.

— Я... я... не могу... — с рычанием вместо дыхания гворила Машенька, по шею укрытая одеялом.

И уже не красное было лицо, а синюшная желтизна проступила вокруг носа и губ. Он видел ясно: ребенок умирает.

— Можешь! — внушала мать. — Чего ты не можешь? Тебе дышать трудно?

Машенька кивнула, и слезы обиды оттого, что ее же еще и ругают, пролились из испуганных, как у совенка, глаз.

— Горячей воды! — тихо и быстро сказала ему Аня. — Ведро целое.

Понимать, рассуждать он был сейчас не способен. Он мог только верить и выполнять. Бегом внес ведро. Закрыв окно. Машенька дышала с хрипом, но была жива.

Закутанную в одеяло, посадили ее на постели ногами в горячую воду. Он сидел напротив на корточках. И в эти минуты, когда он смотрел на ребенка и ждал, все ценности мира потеряли для него цену. И то, что недавно казалось несчастьем, ничтожно сделалось в его глазах.

А когда дочка с мокрыми еще глазами, его пожалев, сказала пресекавшимся голосом: «Папа, ты не пугайся... Я уже дышу... Видишь?» — в нем что-то дрогнуло, он еле сдержал себя.

Через полчаса прибыла «неотложная помощь». Врач, молодая, с мужской хваткой и мужским складом лица, выслушала ребенка, выслушала, что сделано: «Так... так...» — глянула поочередно на обоих родителей, определяя, кто тут более разумный, спросила Аню:

— Вы врач?

— Нет. Но двое их у меня...

— Можно было еще поставить горчичники. Вот сюда. Сухую горчицу в воду. Но в принципе все правильно. Вот так протекает этот грипп. С ложным крупом. — С телефонной трубкой в руке она набирала номер. — Иногда не ложным... Это я, — сказала она в трубку деловым голосом. — Вызовы есть? Записываю...

На исходе ночи Андрей, которого теперь переселили к Мите, услышал, как щелкнула дверь, вскочил. По коридору шла Аня.

— Что? Опять?

Она прошла на кухню, села.

— Дай что-нибудь. Сердце... останавливается...

Она сидела слабая, вялая, даже глаза закрыла. Сказала как сквозь сон:

— Кофейник поставь... Моторчик завести...

Уже звенели трамваи. В осыпающихся с проводов синих искрах, они проходили внизу в темноте, светя желтыми, обросшими морозным инеем окнами.

— Эх ты,— сказала Аня, улыбнувшись слабой улыбкой.— А еще на фронте был. Как же ты там не терялся?

— На фронте другое.

Этого не объяснишь. Там от него зависело. Ну, не вся война, а все же. А здесь он, мужчина, чувствовал себя беспомощным.

Между тем до Нового года оставалась последняя неделя. Уже началась предпраздничная спешка. Несли елки по улицам, стояли очереди за апельсинами, и наряду в городе прибавилось вдвое.

А в их квартире день только тем и отделялся от ночи, что под утро у Машеньки спадал жар. Раскрывались шторы, начиналось проветривание, умывание, уборка, на какое-то время ребенок, освеженный, чувствовал себя лучше. Потом температура вновь начинала расти, и впереди была ночь.

В доме разговаривали тихими голосами, телефон прикрывали подушкой, уходя, старались не стучать дверью. Отяжелевшая от бессонных ночей, раздражительная, Аня даже Митю забросила.

За окном хлопьями валил снег, мальчишки в валенках, разгоревшиеся, дышащие морозом, расстегнутые, здоровые, сражались в снежки и галдели так, что здесь, за двойными рамами, слышны были голоса, и Машенька отраженно улыбалась их веселью.

— Ты знаешь, я никогда не завидую,— говорила Аня, и глаза у нее были фанатичные.— Я никогда не завидовала никому. Но я завидую здоровью детей!

А он ничего не мог поделывать с собой: в эти дни ему как никогда хотелось работать. Был объявлен конкурс на строительство кинотеатра на две тысячи мест. Он решил в нем участвовать. Среди ночи он просыпался с ясной головой, бесшумно выходил на кухню. Он приспособил здесь чертежную доску. Плотно закрывалась дверь, приоткрывалось окно. Щурясь на слепящий под электричеством белый ватман, закуривал сигарету, чтоб успокоиться.

Но иногда, глядя на ватман, он видел другое здание. Слово сказанное имеет свою силу. Он сказал, что хотел бы построить дом отдыха, виллу, и теперь видел его. И видел место на земле, где ему стоять. В прошлом году они шли с Митей на лыжах, миновали поляну, перебрались через овраг, входили в лес. Он оглянулся и долго стоял и смотрел. Вот здесь. Небо, снежная даль, лес, ярусами поднимающийся вверх, Среди природы, и само — часть ее.

— Ты можешь хотя бы ночью не петь?

Заспанная, в халате, Аня вошла в кухню, жмурясь от света.

— Ребенок болен, не знаю, отчего у тебя праздник? Только удалось задремать наконец...

Он внутренне сжался, как сжимался все эти дни, оттого, что он такой здоровый, ни хворь, ничто не берет его.

— Я сейчас уберу. Это так просто,— говорил он, разгоняя дым рукой.

— Вот в этом вся разница между нами,— сказала Аня.— Ты любящий отец, я ничего не хочу сказать. Но для меня они — вся жизнь, а ты... Ты и без нас будешь жить. Да, да, это так... Ты только без своего дела жить не можешь.

И увидела, что он смотрит на нее остановившимся стеклянным взглядом: он не видел ее сейчас и не слышал.

В воскресенье рано-рано позвонил Борька: он узнал телефон профессора. Молодой. Светило. Дождавшись десяти — до этого часа, ему казалось, профессора по воскресеньям спят, — Андрей стал звонить. По счастью, профессор был не за городом. Он долго отказывался, басил, не слушая заискивающий голос. Потом вдруг согласился:

— Хорошо. Сколько на ваших? Через полчаса можете быть у меня?

Через полчаса Андрей с шапкой в руке стоял в передней профессора. Внизу ждало такси. Профессор одевался. По временам из глубины комнат звучал его энергичный голос, отдававший приказания.

Передняя с блестящим от лака паркетом была увешана по стенам чеканкой, и две яркие африканские маски красовались на видном месте. С недавних пор это стало не просто модой, но как бы удостоверяло зримо, что владелец масок достиг определенных степеней и даже, как можно полагать, международного признания. И еще многое, чему пока еще не нашлось точных определений, удостоверяли эти видимые знаки.

Стараясь не замечать, Андрей почтительно стоял на коврике у дверей, преисполняясь доверием и надеждой: вот профессор посмотрит и скажет, что делать.

Профессор стремительно вышел из стеклянных дверей.

— Что же вы здесь дожидаетесь? И никто не сказал, не провел...

Он надел яркое мохеровое кашне. В расстегнутой шубе крикнул куда-то в комнаты:

— Я вернусь, еще поработаю часочка два-три!

И хоть Андрею стало неловко за него: не мог он не понять, что производилось впечатление широким жестом, — он не позволил себе думать об этом.

— Профессор, такси внизу, — сказал он почтительно.

— Ах, вот какое обстоятельство...— Профессор на миг озадачился.— Нет, мы сделаем так: отпустите такси. Поѐдем на моей машине: мне еще надо будет захватить потом...

Руками в кожаных перчатках он уверенно вел машину по снежным улицам. Андрей попытался было рассказывать дорогой, как заболел ребенок, что было, что делалось, профессор прервал его:

— Ничего не надо заранее. Я все увижу сам.

Но тут же смягчился, счел нужным объяснить отцу:

— Вы приехали за мной, следовательно, хотите знать мое мнение. А вместо этого навязываете свои представления мне. Я должен увидеть непредвзято. Это очень важно.

«Нет, он дельный мужик»,— Андрей охотно преисполнился верой. И Аня, открывшая дверь, смотрела на профессора косящими от волнения глазами. Впервые за последние дни она была тщательно причесана, напудрена, подкрашена. С чистым полотенцем в руках она ждала, пока профессор медленно и тщательно мыл руки, взбивая мыльную пену.

Волнение родителей передалось ребенку. Когда открылась дверь и все вместе, пропуская профессора вперед, вошли, Машенька сидела посреди крахмальных простынь (Аня срочно перестелила к визиту) испуганная, в желтой своей пижамке, как гусенок с вытянутой шеей.

Начался процесс осматривания, остукивания, оттягивания век.

— Прошу чайную ложечку... «А-а». Еще «а-а». Еще! Очень хорошо. Свет, пожалуйста, сюда. Сюда, сюда. Нет, дайте я сам. Отлично!

В эти минуты Аня видела ее не своими любящими, а чужими глазами, и покрывшаяся гусиной кожей Машенька казалась ей сейчас особенно жалкой и худой.

— Вы знаете, профессор, она такая крепенькая была,— начала она оправдываться, едва он вытянул рези-

новые шланги из своих белых чистых ушей.— На лыжах, на коньках...

С хмурым лицом Андрей одевал дочку: заморозили совсем. Он ждал приговора, страшился, и от этого ему казалось, что Аня говорит много лишнего и все не то.

— Воспаление легких. Да. Ну и что? Будем лечить! — Голос профессора стал тонким.— Кстати, вот этого,— двумя пальцами, как мышь за хвост, он поднял со стула Машенькин яркий свитер,— избегать! Только чистый хлопок! Только чистая шерсть! Синтетика — лишняя возможность аллергических наслоений. Вот здесь, на фирменной этикетке, должно стоять «pure wool». И то нет гарантии.

Сияющий чистоплотностью и здоровьем, розовый сквозь кожу, свежий, с влажным ясным взглядом голубых глаз, он казался из мира иного, где не болеют дети, где все разумно питаются и носят исключительно «пур вул».

— Век химии, век синтетики стал веком аллергии. Мы не все можем лечить, но многого мы уже можем избежать.

Аня значительно взглянула, и Андрей тихо вышел. Он понял ее взгляд.

Все разузнавший Борька сказал утром, что за профессором надо будет заехать и положить в конверт десять рублей. На всякий случай, хоть и были стеснены в деньгах, они положили пятнадцать: профессор все же, неудобно как-то. Но сейчас, прослушав лекцию об аллергии, Аня поняла: надо дать двадцать.

— Ну что он, пап? — спросил Митя, совсем одичавший за эти дни. Сам с собой он тихо играл на полу в солдатики.

Андрей погладил его по волосам:

— Вот закаляйся, сын, не придется их звать.

Он вернулся, когда Аня с волнением спрашивала о том, что мучило ее все это время.

— ...я окно тогда распахнула настезь. Может быть, морозным воздухом охватило?

Профессор взглянул:

— Мм-м...

Встал. Подошел к окну. Аня ждала, волнуясь.

Приподнявшись на цыпочки, так, что видны стали носки в яркую клетку, профессор сверху смотрел на свою машину, стоящую у бровки тротуара.

— Я вот так оставил недавно, и грузовик — представляете? — ободрал крыло. Нарочно, я совершенно уверен. Все-таки удивительный у нас народ, что ни говорите. В нашем дворе человек купил «Москвича» цвета «белая ночь». И вот какой-то... трудящийся... вылил на него бутылку фиолетовых чернил. Ночью не поленился встать. А говорят, мы не трудолюбивы!.. Нет, нас еще сесть, сесть надо! У вас нет машины? Вы счастливые люди...

Он сел к столу, вынул бланки.

— Подумаем о назначениях. Прежде всего снимем лишнее...

Тут он отменил все, чем лечили до сих пор, и назначил два самых новых, самых последних лекарства: наше и голландское. Выписывая, он каждое произнес вслух, помогая усвоить.

Очень точно, придав этому особое значение, разъяснил, как следует принимать: одно за пятнадцать минут до еды, другое спустя пятнадцать минут после еды. До и после. В обоих случаях интервал пятнадцать минут.

— Вот вы увидите, как они это делают, — говорил он о голландском лекарстве. — На сладком сиропе. Не надо думать даже о дозировке: в упаковку вложена пластмассовая ложечка. Наливаете и... — Тут профессор высунул розовый, свежий язык, проглотил воображаемое лекарство и сладко облизал губы. — Ребенок пьет и пить хочет.

В передней Андрей держал ему шубу с целой, нещипаной выдрой на воротнике, от которой пахло мертвечиной и нафталином.

— Спасибо, профессор... Значит, это вы разрешаете?.. А это не рекомендуете?..

Подержал и закрыл за ним дверцу лифта.

— Разрешите, профессор, если что возникнет, звонить?..

— Ты не забыл отдать ему деньги? — первым делом спросила Аня.

Оставшись в передней вдвоем, они взглянули друг на друга. У Ани сейчас были глаза верующей. И оба они испытали тот прилив надежды, который на непродолжительное время вносит с собой новый врач.

Андрей тут же помчался по аптекам. После долгих поисков выяснилось, что одно из прописанных лекарств должны получить в первом квартале, а про второе никто и не слышал еще.

Совершенно неожиданно на Аню это произвело меньшее впечатление, чем он ожидал. Воинственно блестя глазами, она открыла дверь.

— А, это ты...

— Что случилось?

— Ничего...

Оказывается, в его отсутствие, только Машенька занесла — дзы-ынь: соседка. Молодящаяся, бездетная, она впорхнула показать платье, которое сшила к Новому году. А тут ребенок болен. «Ах, у вас всё болеют!..»

— Ты бы видел, с каким выражением она это сказала! Мне обидней всего, что я ничего не нашлась ответить. Ты понимаешь меня? Я растерялась, как будто я еще виновата перед ней.

— Да перестань, о чем ты...

— Нет, каким надо быть бессердечным существом, чтобы матери сказать: «А у вас всё болеют...» За целую

зиму ребенок заболел впервые. Я хочу, чтобы она еще раз пришла.

Андрей рассмеялся:

— Не придет.

— Нет, я хочу...

К тому времени, когда вновь позвонили, Аня приготовила все, что она скажет. Но в дверях стояла Лидия Васильевна Немировская.

— Ну как же можно не сказать, не позвонить?

— Лидия Васильевна!

— Он ведь как ребенок, Александр Леонидович.

Я его спрашиваю сегодня: «Что это Медведевых не слышно?» — «Ах да, мне говорили, там кто-то заболел...» Я прямо из поликлиники, только закончила прием. Дайте мне руки помыть. Он в этом отношении совершенное дитя.

Раскрасневшаяся на ветру, с растаявшим снегом на седых волосах и на усиках, она вошла и ласково улыбнулась ребенку. Ей рассказали о визите профессора. Она слушала, опустив глаза.

— Он знающий человек, — сказала она сдержанно, с присущим ей тактом. — Если хотите, я попытаюсь достать это лекарство. Но самое последнее это всегда и самое непроверенное. Стоит ли? И потом грипп... Он ведь к нам оттуда приходит. Так что, если бы они могли лечить...

Слушая Машеньку, она по-матерински погладила ее исхудалую спину. И Аня не удержалась, расплакалась вдруг, стыдясь самой себя. Впервые за эти бессонные ночи.

— Ну что вы, Анна Ильинична, милая!

— Измучилась... И потом тут... Мелочь, но так обидно!..

— Не вырастают они без болезней. Сейчас болеют, потом начнут замуж выходить... расходиться. Я вот вспоминаю теперь как золотое время...

На двенадцатый день нового года Андрей стоял с дочкой у лифта, держа в своей руке ее руку в варежке. Одетая в валенки, шапку, шубку, Машенька смеялась-заливалась, вспоминая, как профессор высунул розовый язык и облизнулся.

Смеялась дочка: смешно. Смеялся отец: выздоровела дочка.

## ГЛАВА XIV

В первое же воскресенье Аня выгнала своих мужчин за город на лыжах. Она хотела, чтобы Митя подышал воздухом. Андрей хотел поглядеть ту поляну у леса: кто знает, может, все-таки придется ему строить там.

В ночь с субботы потеплело, подул южный ветер. Влажное дыхание его осело на деревьях, на проводах, провисших под тяжестью, и утром зимнее солнце осветило сказочный мир.

В снежном величии стоял лес, весь опушенный. Как в глубину облака, въехали в него. Тихо: Глухо. Белый мягкий свет, белое мелькание перед глазами. Подныривая под снежной лапой, Митя лыжной палкой ткнул в нее и выскочил из обвала весь в снегу.

— Стой, обтряхну! — крикнул отец.

Но Митя убежал от него на лыжах, мелькал среди белых деревьев. Андрей закурил сигарету. Качалась взлетевшая вверх ветка сосны, сыпалась, искрилась в воздухе изморозь. Он догнал сына, вместе вышли на просеку.

Мимо них прошел лыжник. Шумно дыша, он работал руками и ногами, как машина рычагами. Остроконечная вязаная шапка, мохнатый широкий свитер, тонкие в натянутых шерстяных чулках ноги. И по всей просеке — и впереди и позади них — шли лыжники, все в одну сторону. Блестело солнце, слепил снег, лежали тени попе-

рек лыжни. Высоким было небо. Впереди, замыкая просеку, оно стояло стеной. Яркими точками возникали там лыжники на гребне и исчезали, как будто сваливались за горизонт.

Попав в накатанную лыжню, как в общую струю ветра, Митя надал шаг, радостно блеснули глазенки из-за плеча. Лежавшие поперек лыжни тени вскакивали ему на спину и падали.

Как по-иному видишь мир, когда есть дети. Даже прошлое начинаешь видеть через них. И жутко станет задним числом — за них, хотя тогда и на свете их не было.

Недавно смотрели телевизор всей семьей, какую-то комедию. Машенька взобралась к нему на колени. Она не знает, какой нечаянной радостью способна одарить отца, когда вот так сама взберется на колени, пригреется... И ни с того ни с сего посреди комедии ему вдруг вспомнилось, как в сорок втором году на болоте немецкая разведка напоролась на них. «Ты чего?» — удивилась дочка. Оказывается, он прижал ее к себе и дышит в макушку. Через их жизни он и своей заново узнавал цену. Ведь это их могло не быть, их шли убить: Митю, Машеньку. И кому какое дело, что они сказали бы, придя в мир? Может, им что-то суждено сказать? Или нарочно, чтоб не смогли? Да нет, счет ведь не на единицы шел. Вслепую, на миллионы.

И как просто было! Вот эта простота все больше вспоминалась на отдалении. В Венгрии такой же солнечный день стоял, полузимний-полувесенный уже. Их наблюдательный пункт был в разбомбленном кирпичном доме. И до того надоело в каменном холоде сидеть, что они с капитаном Щеголевым вылезли в траншею, стали за выступом стены, с непривычки жмурятся на солнце. А на той стороне, тоже в развалинах, немцы пушчонку выкатывают. Простым глазом видно, как там за щитом копошатся, как разворачивают ствол. Они

стоят смотрят. А те выкатывают. И солнце весеннее, снег подтаивает, в глаза блестит... Как рывкнула пушка! После сами удивлялись: когда успели на дно траншеи упасть? В доме крик поднялся: «Комбата убило!..» Пыль, дым, стрельба началась. А они лежат, и с перепугу даже смешно вроде. Молодые были, глупые все же. Пройлой осенью в День артиллерии, 19 ноября, зашли они с Борисом в ресторан. На эстраде четверо парней в малиновых пиджаках с галуном, с электрогитарами на животах. От каждого электрический шнур по полу. Парни по очереди подсовываются мордашками к микрофону. Мяукнет по-английски и затрясется с электрогитарой на животе, словно его током пронзило.

Как водится, места все были заняты. Только в глубине, у колонны, один за столиком сидел человек в компании с бутылкой вина и свиной отбивной на тарелке. Показалось на миг — иностранец. Даже по тому, как он отпивал вино: не пил — дегустировал. Но вообще-то теперь так, с маху не определишь. Может, из Москвы командировочный или из Ленинграда. Иностранного только костюм на нем: светло-серый, в голубую клетку-поддержку. Но кто теперь заграничные костюмы не носит? «Разрешите?» — «Пожалуйста». Выговор старательно чистый. Очищенный. Из голубых глаз понимающая улыбочка: сядут или не сядут?

Сели. Взяли карту.

Выяснилось, что и предположить можно было: воевал в России, находился в плену. Тут он достал из внутреннего кармана лоснящийся кожаный бумажник, двумя пальцами вынул из него твердую визитную карточку. На матовой, имитирующей переплетенную ткань стороне сочное черное тиснение. Коммерц-директор.

За неимением визитных карточек представились так: скульптор, архитектор. «O-o!..» Снова не без удовольствия вынут был кожаный бумажник и оттуда — теперь уже с улыбкой — белыми мягкими пальцами достал

глянцевую и тоже твердую фотографию. Сначала сам в нее глянул, потом им передал: «Майне фамилие».

Химически-красные маки, химически-зеленая трава, а перед двухэтажным островерхим, под черепицей домом — четверо. Которая из них мать, которые дочери, разобрать трудно: все в белых шортах, все юные, все улыбаются в объектив. Вот сына сразу отличишь: рыхими кольцами волосы до плеч.

И еще машина сфотографирована на переднем плане рядом с домом: голубая на зеленой траве, свежeweымытая, блестит чистыми фарами. Моя семья, мой дом, моя машина. Тоже визитная карточка.

Коммерц-директор постучал ногтем по глянцу фотографии, по длинным волосам сына: «У вас тоже... как называется?.. дизе проблем?» — «Есть и у нас».

Вот такая общность проблем. Мирных? Мировых?

Интересно, жив немец, которого Андрей отпустил во время Ясско-Кишиневской операции? В тот день его контузило. Даже не контузило, а отбросило взрывом и ударило несильно обо что-то. «Прислонило к стенке», как он после говорил. Слабый, вялый — его качало, он еле сдерживал тошноту, — Андрей заснул под дождь на промежуточном пункте связи, один в окопе.

Уже был прорван фронт, уже наши танки на флангах далеко ушли вперед. Множество немцев из разбитых частей бродило у нас в тылу. Их даже не вылавливали: некогда было, да и не сорок первый год. Шел август сорок четвертого.

Проснулся Андрей как от толчка. Вспходила ракета. В ее смещающемся свете над окопом наклонился человек. Он увидел над собой — на всю жизнь запомнилось — длинный, желобом, козырек немецкой фуражки, светящиеся повисшие капли дождя, лицо в тени. Долгий миг смотрели они в глаза друг другу. Немец отпрянул, побежал.

Ракета подымалась в дожде. По мокрой земле,

оскользаясь, расплескивая сапогами блестящие лужи, бежал от смерти солдат чужой страны. Он был ясно виден весь: спина горбом, хлястик шинели на позвоночнике.

Шел четвертый год войны. Сколько за эти годы сложнейших вопросов, на которые мудрецы ответа не нашли, решалось нажатием пальца на спусковой крючок. И уже привычно сделалось, просто.

Посадив на мушку, отчего немец уменьшился сразу, Андрей вел за ним ствол автомата, а сам плавно нажимал спуск. Но вдруг отчего-то снял палец... Если жив тот немец, возможно, и у него сейчас свой дом, «meine Familie», визитные карточки.

Коммерц-директор уже ел мороженое из высокой металлической вазочки, когда им принесли закуску, бутылку «столичной». Он поднял свою рюмку на уровень глаз, они тоже налили. Выпили. А мертвые лежат в земле.

Ребята в малиновых пиджаках на эстраде забили разом во все, что звенело и громыhalo, затряслись в иступлении, испустили в микрофон последний вопль. И выстроились с блещущими гитарами на животах, согласно качнули головами. Волосы накрыли лица и откинулись.

Интересно, не на их ли фронте был сосед по столу? Нет, оказывается, на другом участке. Севернее. Все же как-то приятней. Он указал на себя пальцем: «Инфанterie! Пехота!» И Борька толстым пальцем ткнул себя в грудь: «Летчик. Самолеты, Флюгцойг». И Андрей представился: «Артиллерия». Был он и пехотинцем, ротой командовал, но с середины войны стал артиллеристом. Так и считал себя: артиллерист. «Ну а сын ваш, их генерация, что они знают о войне? Как относятся?» Бывший пехотинец, ныне коммерц-директор из Дюссельдорфа, улыбнулся просвещенно. Сделал жест рукой, что-то легкое отпуская от себя по ветру. И оно отлетело:

«Безумие. Их генерация виль нихт... как это?..» Он искал слово. Нашел: Гитлер был безумный. Безумный... Безумие... Но скольких оно охватило! Что же люди — трава под ветром? Подуло — и они вытянулись травинка к травинке, волна за волной...

Экономические причины понятны. Политические причины — это тоже все можно понять. Но вот сыну, ребенку, который еще прост умом, как объяснить? Как объяснить, что где-то по костям людей взобралась одна сволочь наверх и миллионы идут убивать таких же, как они, которых и в глаза не видели ни разу. А теперь еще проще, даже в глаза не надо глядеть, смущать свою совесть. Кнопку только нажать...

Синие морозные тени лежали поперек просеки, и солнце блестело в накатанной лыжне...

Весь разгоревшийся, Митя скинул капюшон. Маленькие лопатки старательно двигались под курткой, уши пылали, ложбинка на шее вспотела.

Но самое страшное, когда отцы и матери шли на гибель с детьми на руках. Даже собой не могли заслонить, могли только умереть вместе.

Березы в инсе казались сиреневыми в тени; слепящие стояли они на солнце. И снег был чище и белей их белой коры. А под каждой словно желтым песком посыпано: это из раскрывшихся сережек высыпались семена, начиная новый круг жизни.

Обогнали семью. Кукольная девочка лет четырех с локонами ковыляла на красных лыжах. Красный гарусный костюм такой яркий, что снег вокруг нее светился розовым. Обогнали маму. Молодая, в синих эластичных брюках в обтяжку, в снежно-голубом свитере. Стянув за помпон вязаную шапку с головы, она трясла на солнце золотистыми распавшимися волосами. Оглянулась на проходящих — глаза синие-синие. Улыбнулась ими. Людям? Или всему дню этому бездонному, полному солнца и света?

Митя бежал впереди, удаляясь. Его сын. Это чудо из чудес, что он есть, что он бежит по земле, где столько не стало. А столько не родилось и уже не родится век.

## ГЛАВА XV

По всем домашним приметам, ожидали именинника сплошные удачи. На целый год вперед.

Александр Леонидович Немировский родился «на Евдокию», 1 марта по старому стилю. Теперь, на отдалении шести с лишним десятков лет, никто, конечно, не помнил, какой тогда выдался день в марте. А год был — первый год века. Но сохранился в семье рассказ, что мать Александра Леонидовича, будучи не в силах подняться с постели, попросила посмотреть в окно. Считалось, если в этот день «курочка водички напьется», лето будет хорошее. На той стороне, куда выходили окна, был мороз, синяя тень, нигде не текло, не капало. Но сбегали на другую, на солнечную сторону. Там блестели лужи, всюду лило с крыш. И хотя примета не имела прямого отношения к новорожденному, в сознании матери все как-то само собой соединилось: хорошее лето, хороший год, хорошая жизнь. «Ну, слава богу!» — сказала она, успокоясь.

С тех пор всегда в этот день смотрели, напьется ли курочка водички. Вначале мать, потом ревностно смотрела жена, к которой вместе с этой приметой с рук на руки перешел Александр Леонидович.

Но были у Лидии Васильевны еще и свои приметы, унаследованные от собственной матери. Она всегда очень тревожилась, удадутся ли пироги. Тут ни за что заранее ручаться было нельзя. И если тесто не выходило воздушное или вдруг подгорал пирог, настроение у Лидии Васильевны портилось непоправимо. Конечно, ни

в какие приметы она серьезно не верила, просто привыкла и ничего с собой поделывать не могла. Тем более что она всегда очень боялась за Александра Леонидовича:

Сегодня все удалось на редкость. Тесто подошло быстро, пироги были высокие, легкие, все пропеклись, и ни один не подгорел. Сажая кулебяки в духовку, Лидия Васильевна каждую из них куриным перышком, как еще мать учила ее, смазала сверху яичным белком, и вышли они румяные, с глянцевою корочкой. В тот момент, когда она вынимала их, заглянула в кухню младшая дочь Людмила с сигаретой в пальцах.

— Вот смотри... Не будет меня, запомни.— С наивной гордостью Лидия Васильевна прямо с пылу, с противня бесстрашно взяла кулебяку на ладонь.— Не обжигает! Первый признак, что пропеклась.

На столе ждали деревянные доски, покрытые бумажными листами. Эту белую бумагу Лидия Васильевна брала в кабинете Александра Леонидовича, чувствуя себя при этом так, словно уворовывает. И хотя он сам сказал ей, что вот здесь, слева на полке, специально лежит стопка, из которой она может брать не спрашивая, за руку подвел и показал, она все равно очень робела и не было у нее уверенности, что не перепутала чего-то.

Одну за другой она выложила на доски все три кулебяки: с мясом, с капустой и с рыбой. И, пышущие, накрыла чистыми кухонными полотенцами. Она не видела себя сейчас, румяную от жара духовки и седую, с живыми, молодо блестящими глазами, и единственно радовалась, что Александра Леонидовича нет дома, и он увидит ее уже не в старом халатике, потную, а когда она искупается и приведет себя в порядок.

— Не знаю, зачем это в наше время печь самой,— сказала Людмила, затягиваясь сигаретой.

От не смытой с вечера туши вокруг глаз темно, и

сигарета курится натошак, после чашечки пустого кофе. Но Лидия Васильевна уж молчала, говорила дочь:

— У людей праздник, а у тебя всегда в этот день волосы на голове горят. Прекрасно можно все купить. Тем более вам. Стоит сказать только.

Дочери выросли, стали матерями и теперь учат ее. Если б ещё она могла научить их прожить жизнь так, как она с их отцом прожила. Особенно Людмилу, младшую.

— У меня в доме никогда по-холостяцки не бывало,— сказала Лидия Васильевна.— И отец ваш привык, чтобы в праздник пирогами пахло. Так я жизнь прожила.

— Думаешь, правда мужчины это ценят? Мужчинам в наш век нужно совсем другое.

«В наш век» и «когда ты жила!..» — это были теперь постоянные аргументы Людмилы. Словно они с отцом из другого века. Словно их давно уже нет вообще. Но Лидия Васильевна не обижалась. Она жалела дочь: Людмила вторично и теперь как будто окончательно разошлась с мужем, забрала Олечку и переехала к ним. Не раз она замечала в эти дни, как дочь нарочно делает ей больно, именно против нее почему-то ожесточается. Но она не обижалась.

А вот дочерью об отце сказанное: «Мужчинам нужно совсем другое», было ей неприятно. Как будто себя с отцом Людмила ставила на одну доску, где ей, Лидии Васильевне, и места нет. К Александру Леонидовичу вообще не относилось то, что Людмила, наверное, имела в виду и о чем Лидия Васильевна, жизнь проживши, могла только смутно догадываться.

А совсем недавно такая это была очаровательная, веселая девочка, вся в кудряшках и бантах, отцовская любимица; никто без улыбки не мог на нее взглянуть. И вот вернулась в дом женщина, временами чем-то чужая. Лидия Васильевна стыдилась делать замечания,

когда Люда neodетая или так обтянутая шортами, что это еще хуже, чем neodетая, расхаживала при отце по дому.

И уже сами собой интересными становились рассказы о том, что у тех и у тех тоже дочь разошлась с мужем, начинало казаться, что теперь все так, у всех. Но в душе Лидия Васильевна знала, что нет, не у всех, не все.

Они с Александром Леонидовичем так не жили, вот это она могла сказать. За всю ее жизнь он был единственным, главный, самый дорогой для нее человек. Он был и мужем и отцом ее детей, хорошим отцом, и всю жизнь она относилась к нему так, словно он был ее взрослым ребенком. Она всегда все помнила за него и радовалась этому. Ни дочери, даже когда совсем маленькими были; ни внуки теперь не заслонили его. Место Александра Леонидовича в ее сердце было совсем особенное. И она только страшилась за него: как он будет жить, когда ее не станет?

А то, что случилось восемь лет назад... Теперь она понимала, это бывает с мужчинами в таком возрасте. Что она тогда перенесла, она одна знает. Эта страшная женщина, онколог, которую она и теперь изредка встречает в райздраве на совещаниях... Но ни тогда, ни теперь она никому слова не сказала. Единственно написала старшей дочери. И та прилетела со своим мужем, и вместе с Людой они удержали отца от непоправимого шага. Страшно подумать, что могло бы быть! Люда сказала ей, когда уже снова все стало на свои места, и Александр Леонидович просил у нее прощения, и она простила, настолько простила в душе, что смогла забыть: «Знаешь, мать, отец еще святой. Ты ему в няньки записалась, а ему жена нужна». Глупая девочка! Ни с кем никогда Александру Леонидовичу не было бы лучше. Если бы он все же сделал тот страшный шаг, он рано или поздно все равно к ней бы вернулся. Но вер-

нулся бы старым и больным. Она врач, она знает. Ранние инфаркты, инсульты — вот чем это кончается. Они прожили счастливую жизнь, детям своим она могла бы такую жизнь пожелать.

К тому времени, когда Александр Леонидович вернулся с работы, она успела и душ принять и в парикмахерской была: сделала прическу и маникюр с бесцветным лаком. Волосы она не красила, как теперь все, в рыжий цвет. Не было ничего на свете, что бы она не сделала для Александра Леонидовича. Но врать ему она не хотела ни в чем. Они вместе радовались детям, вместе счастливы внуками. Что же стыдного, что у нее седые волосы? Ведь это она не где-то, а с ним прожила жизнь.

Единственная ее лож касалась еды. Она способна была поклясться, что ела, и клялась, когда ей нужно было в трудное время накормить его и детей. И честно смотрела ему в глаза. Она могла и теперь приготовить кролика и сказать, что это курица. Но то была святая ложь: иначе бы он есть не стал. Удивительно, как он ничего не понимает.

— Ну-у!..— сказал Александр Леонидович, как бы повергнутый в изумление.— Пирогоми пахнет уже в подъезде. Люди на улице останавливаются, трамваи сходят с рельсов!

Он подал ей букетик ранних фиалок, с молодой галантностью поцеловал руку. Торжествуя, Лидия Васильевна сияющими глазами оглянулась на дочь.

Она хотела тоже поцеловать его склоненную голову, на которой волосы были уже редки, но тут с криком: «Де-еда!» — вылетела из комнаты Олечка, словно за ней гнались, с прыжка повисла у него на шее. Вот кому все в доме было позволено. Как когда-то ее матери.

Подхватив внучку под колени — та сразу в своем коротком платьице и белых, треугольничком трусиках удобно уселась на его руке,— Александр Леонидович

разогнулся; от напряжения наморщившаяся кожа на затылке покраснела.

— Оставляй нам Олечку и езжай себе куда хочешь свободная,— сказал он.

— А дочь уже не нужна? — Людмила подошла, покачивая бедрами, подставила щеку для поцелуя.— Всех эта паршивка заслонила.

Лидия Васильевна стояла, оттесненная, с букетиком фиалок и портфелем Александра Леонидовича в руках.

— Дайте ему хотя бы снять пальто,— говорила она, заявляя свои робкие права.

Через полчаса всей семьей накрывали дубовый обеденный стол. Дед с внучкой, взявшись, разодрали слипшуюся под утюгом крахмальную льняную скатерть. Все эти нынешние, привезенные из-за границы клееночки, все это модное не признавалось в доме Немировского. Все только натуральное, только естественное! И в человеке, и в жизни, и в архитектуре! Александр Леонидович любил говорить: «Человек родился в колыбели, где матерью природой было припасено для него все. К сожалению, он поздно догадался об этом и больше перебил и уничтожил, чем употребил с пользой. Наша задача не выдумывать, а выявлять. Кстати, для этого требуется гораздо больше ума и знаний. Выявлять законы, скрытые в глубине явлений. Природа скрыла их от неразумных, которые способны лишь сломать механизм. Выявлять природу творчества и красоты, которые заложены в основе мироздания». Длинновато несколько, но не так уж плохо сказано, если подумать. Скажи это Дарвин или, например, наш великий соотечественник Павлов, люди занесли бы это на скрижали.

Растягивая сейчас с внучкой крахмальную скатерть, Александр Леонидович чувствовал в себе тот нервный подъем, ту взбадривающую энергию, которая, в сущности, и есть творческая энергия. И, сам за собой не замечая, он напевал в нос.

7

Колеблемая при каждом рывке, Олечка вместе со скатертью летела к деду и так хохотала, так хохотала, едва на спину не падала от хохота.

— Оля! Ольга! — пыталась сердиться Лидия Васильевна, но и ее глаза, которым полагалось быть строгими, смеялись. Невозможно было не улыбаться, глядя на этого здорового, веселого ребенка в коротком платьице, открывавшем все целиком полные стройные ножки.

Наконец скатерть была расстелена и заблестела под косым вечерним светом из окон. В центре стола будет помещено коронное блюдо, но его следует внести позже, на грубой доске. А пока что этот пустующий центр представлялся всевозможными закусками.

Александр Леонидович, в костюмных брюках, в свежей крахмальной сорочке, с отпущенным галстуком, который к приходу гостей оставалось только подтянуть, в тонких немецких подтяжках с никелированными зажимами, расставлял на особом столике водки и коньяки.

— Все как всегда. Все как всегда,—говорил он.— Мы никого не ждем и всем рады.

Конечно, он надеялся, что, может быть, придут те, чьим присутствием измерялось его положение и вес, но даже себе самому он бы в этом прямо не сознался. Что-то происходило вокруг него в последнее время, он чувствовал. Несколько раз уже забывали прислать ему приглашительные билеты. Дело не в самих билетах, хотя многие и за многие годы мандаты, делегатские удостоверения, билеты на торжественные заседания со штампом «президиум» он хранил. Дело в том, что это не бывает случайно. Он мог не прийти, скажем, на выставку книги, но билет ему полагалось прислать. И его секретарша Полина Николаевна не оставила это так просто, она отреагировала должным образом и созвонилась с кем следовало.

Он стал замечать какое-то нетерпение в людях. Он привык говорить пространно, в несколько замедленной манере, с паузами, и его должным образом всегда слушали. А тут с первых слов, как будто уже известно было, что он говорит не то и не так, начинали проявлять нетерпение, переглядываться. И он не чувствовал в себе уверенности. Что-то происходило, чего он не мог остановить. И Александр Леонидович делал единственное что мог: старался не замечать. В конце концов, сегодня все-таки не круглая дата: шестьдесят три года. Не шестьдесят пять даже. Сугубо семейный праздник.

Он переставлял бутылки, создавая одному ему ведомый беспорядок, который бы наглядно говорил, что никаких особых приготовлений, поставлено только то, что оказалось в доме. А в доме оказалось многое. На все вкусы. «Столичная» с красной этикеткой: водка с такими этикетками в их городе пока еще была редкостью. Экспортная, ноль семьдесят пять литра, бутылка особой «московской» с зеленой наклейкой, золотыми медалями и завинчивающейся пробкой. Стояла «беловежская», привезенная приятелем из Минска. В графинчиках были водки собственного приготовления: зеленоватая на свету, настоянная на укропе, чесноке и красном перце; чуть желтенькая — на лимонных корочках; почти черная, так что хрустальные грани графина зажигались в луче темным рубиновым огнем, водка на черноплодной рябине, настаивающаяся целых полгода.

Подтянув брюки на коленях, Александр Леонидович присел у серванта, достал нераспечатанную круглую бутылку марочного молдавского коньяка «Кишинэу», взглядом поискал для нее место на столике.

— Тум, тум, трам-та-там, тра-та-там, тра-та-там,— напевал он в нос.

Да, да, никаких приготовлений. Только то, что оказалось под рукой. И при этом порядок дома неизменный: никто никого не уговаривает, не принуждает. Дело хо-

заяв — поставить, дело гостей — распорядиться по своему усмотрению. И чувствовать себя свободно, приятно.

Все три женщины — бабушка, внучка, дочь — носили из кухни на стол. По временам у них вспыхивали бурные дискуссии, и громче всех раздавался голос Олечки.

Александр Леонидович в последний раз окинул содеянное взглядом творца. Стол имел тот вид, какой он хотел ему придать: словно эти бутылки и графины все вместе были взяты в охапку и поставлены вот так, без разбору. Он нажал пальцем клавишу радиолы, отрегулировал звук до приглушенной бархатистости и, бросив этот завершающий штрих, вышел на кухню, готовый к роли третейского судьи в своем доме.

В шестьдесят три года он был все такой же сухощавый, как в тридцать. Для Лидии Васильевны, смотревшей на него глазами жены и домашнего врача одновременно (а с годами все больше глазами врача), это значило многое. Он не носил на себе лишний груз в десять — пятнадцать килограммов, сердцу его не нужно было совершать непосильную работу, питать кровью всю эту бесполезную массу. «Как юноша», — подумала она.

— Твоя внучка командует. Все ты ее распускаешь! — по видимости возмущаясь, на самом деле гордясь, сказала Людмила, идя мимо него с салатницей. Оглядела отца. — Ты мне нравишься сегодня, Немировский!

Все четверо друг за другом они прошли через переднюю с мисками, мисочками в руках. Здесь перед темным зеркалом, как будто в глубине его, горела электрическая свеча в желтом абажуре. От нее лица в зеркале, глядящие из темноты в темноту, казались коричневыми, как на полотнах Рембрандта. Это всегда очень сердило Лидию Васильевну. «Господи! — говорила она, торопясь на работу. — Вся моя косметика — нос напудрить. И делаю это на ощупь». Случалось, она выскакивала на

улицу с таким перепудренным носом, что при ярком солнце он казался сине-белым. Но Александр Леонидович любил рембрандтовские тона.

Здесь, в передней, все было самое простое, на стенах, оклеенных обоями под кирпич, книжные стеллажи от пола до потолка. Не полированные, не лакированные даже: струганые доски. Лиственница. Но проморенная так, будто время закоптило ее.

А потом из темноты передней — в свет комнаты с большим стеклянным эркером, где все современное: прямые линии, отражающие плоскости. Век нынешний и век минувший.

Женщины заставляли стол блюдами, Александр Леонидович всему давал последнюю отделку. Он был душой и центром. И снова — единственный мужчина в их доме.

Если уметь радоваться тому, что есть, все хорошо у них. Но в самые счастливые часы в душе Лидии Васильевны жила тревога. За него, за внуков, за дочерей.

Кажется, все, что можно сделать для детей, делалось. Но вот встречается чужой, чуждый человек — и родители бессильны. Их опыт ничего не значит, их просто не слушают, слушать не хотят. А ведь дело идет о счастье их дочери. И нет никого беспомощней родителей: всё видят и ничего не могут изменить.

Высокая, в белой застроченной блузке с черным шнурком-бантиком, в ярком переднике, Лидия Васильевна сияла ровным, спокойным, устойчивым светом счастливой матери, жены и хозяйки дома. Быть может, ничего так не дорого в семье, как это неизменное, ровное, приветливое свечение.

Стол был как всегда, Александру Леонидовичу краснеть не придется. И пироги удались. А если что не так, ей простится: ведь все-таки она работает. Вот уже тридцать с лишним лет. Ее недавние пациентки приводят теперь к ней своих малышей. А одна недавно принесла

внучку в пеленках. В тот день Лидии Васильевне даже взгрустнулось.

— Ну что ж,— сказал Александр Леонидович, взглянув на часы,— можно ждать гостей.

Он надел пиджак, подтянул перед зеркалом узел галстука.

## ГЛАВА XVI

Весь прошлый день мело, город опять стал белый, словно зима вернулась. Ночью под окнами скребли дюралюминиевые лопаты дворников, лязгали снегоуборочные машины. И вдруг с утра — солнце в ясном небе, засверкало, потекло, от тротуаров повалил пар.

Впервые после целой зимы Аня шла по городу в туфлях и без шапки. Она с вечера помыла голову, волосы были пушистые, блестели, солнце грело их, а мех воротника у щеки был теплым. Она шла, виском касаясь плеча мужа, опьяневшая от весеннего воздуха.

— Глаза у тебя какие! — сказал Андрей.

— Какие?

— Сонные-сонные, пьяные-пьяные.

— Знаешь, что я хочу сейчас больше всего? Вернуться уже домой.

Она смотрела на него снизу вверх.

— У-у, какие глаза!

Вдруг из-за угла с грохотом, так, что люди расступались, выкатился инвалид, ремнями привязанный к деревянной площадке на подшипниках. Высокий даже без ног, в зимней шапке на потном курчавом лбу, он мчался, как с горы, отталкиваясь деревянными утюжками от асфальта. Лихо крутанул на повороте — со сверкнувших подшипников отлетели брызги. Такой сильный, широкоплечий, и руки, которыми он отталкивался, большие, сильные. Посторонясь, Аня прижалась к мужу. Мелькнуло потное, отечное лицо. Затихал вдали грохот под-

шипников. Вновь во всю ширину тротуара шли люди, субботний праздничный поток.

— Но ведь если любишь, какое это может иметь значение? — сказала Аня. — Он вернулся с войны, и дороже нет никого.

Андрей ничего не сказал. След войны длинен и кровав, из бесконечности в бесконечность. И все летит, летит та пуля, что у матери убила сына, у жены — мужа, у не родившегося на свет сына отняла отца.

Они пришли к Немировским с опозданием. Внизу у лифта стояли несколько человек, смотрели вверх, нетерпеливо трясли дверцу.

Была известная история про архитектора, которую Андрей с удовольствием вспоминал всегда. Архитектору сказали, что он не учел пропускную способность лифтов: в вестибюле постоянно скапливается народ, нервничает, ждет. «Повесьте здесь зеркало, — посоветовал он. — Большое зеркало». Повесили. И люди вдруг перестали спешить. Не это ли сегодня нужней всего людям: возможность видеть себя в определенные моменты. И способность видеть себя.

Они пошли наверх пешком. На четвертом этаже на двери, мягкой, как спинка дивана, — начищенная медная пластинка: «Немировский А. Л. Архитектор». Каллиграфические буквы, сияние — как у пуговиц на мундире. Конечно, Лидия Васильевна начищала. И в передней Немировских, где под потолком красовалась голова медведя со стеклянными глазами, рогатые головы лося и оленя, всякий раз Аня думала: «Неужели Лидия Васильевна лазают туда с пылесосом!»

Дверь открылась, на площадку вырвались громкие голоса, запах жареного. Держась рукой за цепочку так, что платье потянулось вверх, стояла Олечка.

Аня вынула из сумки белого пушистого утенка с красным клювом и изумленными глазами, который ей самой понравился в магазине.

— Это тебе.

Олечка отступила, молча смотрела на нее, держа руки за спиной.

— Он пищит, вот послушай.

Сжатый в пальцах, утенок раскрыл клюв и крикнул. Девочка все так же молча смотрела. Не на утенка — на эту женщину. Смотрела, будто не понимала языка, на котором с ней разговаривают.

Никто из взрослых никогда ей не говорил ничего подобного, но у нее тем не менее сложилось ясное убеждение, что дед ее самый главный и потому все подлизываются к ней. И она строго смотрела на эту женщину, которая пищала перед ней утенком. Потом повернулась и побежала в комнаты, наскочив в дверях на деда.

— Наконец-то! — шумно приветствовал Немировский. — Оля! Куда же ты? Ты не поняла, это тебе.

— У меня уже два таких! — из комнаты крикнула девочка.

— Ольга! Ужасно дикое дитя.

— Боже мой, какая прелесть! — за внучку преувеличенно радовалась Лидия Васильевна.

И четверо взрослых, чтоб скрыть неловкость, восторгались игрушкой, стоя в передней.

— Саша, он раскрывает клюв!

— Мне он самой понравился, — словно бы оправдывалась Аня.

— Прелесть, прелесть!

— Смотрите, как болгары научились делать.

— Они, между прочим, и раньше умели.

Внучке утенок, бабушке ветка мимозы («А мне за что? Ну спасибо. — Они поцеловались с Аней. — Спасибо. — Поцеловались еще раз. — Они ужасно сейчас дорогие». И, словно бы поколебавшись, поцеловались в третий раз).

Имениннику был подарен кавказский рог на серебряной цепочке. Поухаживав за гостьей, Немировский

тут же, как человек воспитанный, содрал обертку с подарка, чтобы вниманием отблагодарить:

— Мужчине — рога? Впрочем, в моем возрасте это можно. Уже можно. Но первым из него будете пить вы.

— Штрафную, штрафную! — кричали гости из-за стола.

— Они опаздывают, а мы тут надрывайся. — Это Борька Маслов загородил свет в дверях. — Анечка! Анюшка! Анюта! Вот кого я люблю! — Он обнял Аню. — Люблю и цалую!

— Борька, ты пьян! Тебе что, целовать некого?

— Тсс!

Все посмотрели туда, куда испуганными глазами глянул Борька. Рядом с отодвинутым стулом сидело нечто молодое, белокурое, худенькое — козочка в очках. Так вот ради кого искал Борька ходы, одалживал деньги: срочно покупалась однокомнатная квартира в блочном доме. Не миновать ему и этой весной лепить стартующих пловчих; гимнасток с веслом, пионеров с горнами и дискоболов. Этим сопровождалась смена власти в Борькиной жизни.

— Слушай, Боря, ты все же предупреждай...

— Тсс!

Козочка очень внимательно оглядела Медведевых через толстые стекла очков.

— Очень приятно. Боря мне много рассказывал.

Еще внимательней оглядела Анино платье.

Тем временем Борька наливал в рог. Аня хотела захватить у него бутылку.

— С ума сошел! Дай хоть сполосну.

— А как на фронте из копытного следа?

— Слушай, ты, инженер человеческих туш!

— Уш!

— Душ!

— Поимей совесть!

— Они опаздывают...

— Боря, лей!

— ...а мы тут, понимаешь, надрываешься.

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

По мере того как подымался вверх тонкий конец рога и глаза все подымались, Аня, тоже играя в этом спектакле взрослых людей, испуганно смотрела на мужа, как должна в таком случае смотреть жена.

— Пей до дна, пей до дна, пей!

Допил, крикнул, стряхнул капли на пол. Сел. Общий с хлопаньем в ладоши хор распался на голоса:

— Ешь.

— Нашли чем штрафовать.

— Закусывай сейчас же.

В несколько рук ему накладывали в тарелку.

— Дайте отдышаться.

Он сунул сигарету в рот, щелкнул зажигалкой.

— Медведев, поухаживайте.

Голос низкий, чуть с хрипотцой. Это Людмила Немировская. Черные ресницы-опахала опущены, кончик сигареты тянется к огню. Андрей поспешно поднес зажигалку. Когда прикуривала, ресницы поднялись, темными зрачками поверх огня глянула в зрачки ему. И опустила ресницы. Откинувшись, выдохнула из легких долгую струю.

Холодное вино уже носилось туманом. И стало вдруг легко. Мягче свет, глуше голоса. И лица вокруг все улыбающиеся.

Аня сказала тихо:

— Ешь.

Взяв у него сигарету изо рта, погасила в пепельнице.

— Селедки положить?

А за столом гул голосов, каждый говорит свое:

— ...намачиваете — и что?

— Нет, лучше белый. Можно, конечно, можно!.. Но белый гриб — это соловьиная песня.

— Там девятка на конце, а у меня нуль. «Это цирк? Цирк?» С раннего утра! «Цирк?» Цирк, говорю. С моей тещей у нас всегда цирк.

— Ты мне говоришь — буро-набивные сваи, а я тебе говорю — ритм. Ты пробурил, а он на миксере с бетоном за водкой поехал. А она, голубушка, стоит под дождем, оплывает...

✎ Восемнадцатый век, не спорьте!

— Но Лидия Васильевна, как всегда, на высоте! — Это голос Полины Николаевны, секретарши Александра Леонидовича.

— Учтите, коньяк расширяет...

— Мы расширяемся!

— А я тебе говорю. — ритм!..

— Семнадцатый, семнадцатый, перестаньте, пожалуйста. Семнадцатый век, уж в этом я все-таки понимаю кое-что.

— Я сказала: Боря, почему тебе не бегать по утрам? Теперь все бегают...

Это Борькина молодая уста отверзла. Оказывается, у нее и голос есть: тихий такой, тихенький. Но слышный вполне. А то все молчала, слушала, ела с большим аппетитом. Это первый ее выход. Все ей ново, все интересно: что как стоит, что говорят, что на ком. Она и у себя заведет так же. Непременно. А Борьку жаль. Талантливый парень.

Борька подмигивает издали круглым добрым глазом:

— Андрюша! Аннушка! За вас!

— То-то же...

А ведь побежит. Будет бегать по утрам.

— Бег — это мода. Полезней прыгать.

— Семен Семеныч!

— Нет, я как врач...

Но Борькина молодая отнеслась серьезно:

— Как прыгать? Через что?

— По тумбочкам, по тумбочкам пусть прыгает. И лучше натошак.

— Семен Семеныч собственным опытом делится.

— Прыгаю, родные мои, прыгаю. Была жива моя Василиса Макаровна, ума не хватило догадаться. Так хоть для дочки теперь. А внуков подарит — с головой в кабалу к ним.

От полноты ли чувств или еще от чего-то глаза у Семена Семеныча мокрые. И у Лидии Васильевны, которая с того конца стола слушает его, в глазах слезы. Все живы, здоровы, приятные люди собрались за столом — что еще нужно? Но она знала — ей ли не знать! — как уязвлен Александр Леонидович. Он старается не показывать, но тень лежит на нем оттого, что не пришел Митрошин, не пришел Мирошниченко, еще кое-кто не пришел, кто всегда в этот день бывал в их доме. Так пусть им будет стыдно, а ему никакие внешние подтверждения не нужны. Это ли несчастье? Несчастье — когда остаются вот так, как Семен Семенович.

— Семен Семеныч, милый, можно я вас поцелую? — Аня вскочила из-за стола.

— Целуй, родная, вовсе безопасно. Даже гланды вырезаны.

Добрая половина тех, кто здесь собрался, в детстве разевали перед ним рты, как скворчата перед скворцом: гланды, аденоиды, тонзиллиты — все это Семен Семеныч.

Под общий хохот и умиление Аня расцеловалась со стариком. Хотела в щеку — он лихо подставил губы. Так что все заплодировали.

В минуты затишья доносился голос Александра Леонидовича. Он говорил в своем доме, в своей манере — растягивая слова и с паузами:

— Есть чудное место у Дарвина в его «Автобиографии». Он пишет, как ехал в карете и ясно запомнил то место дороги, где решение проблемы неожиданно при-

шло ему в голову. В сущности,— Александр Леонидович произносил это слово так, будто у него сохло во рту: «в сущности»,— механизм этого дела во всех случаях один. Вот свидетельствует Альберт Швейцер...

Как песнь своей юности, слушает его голос Михалева, критикесса не первой молодости. Злые языки утверждают, что в былые времена поровну делила она свою любовь между архитектурой и архитекторами. Но вот уже четверть века сердце ее безраздельно отдано архитектуре, ей одной.

Когда-то право трактовать Александра Леонидовича было ее персональным и неотъемлемым правом. Потом Зотов, более молодой, потеснил ее. С выражением легкой укоризны: «Вот так мы порой не ценим старых верных друзей», она возвращала утраченные позиции:

— Меня только беспокоит та деромантизация идеи,— слышит Андрей,— которая обозначилась в архитектуре. Та простота, я бы даже не побоялась сказать — то упрощенчество...

Осмотрев на вилке со всех сторон кусочек розового балыка, обезопасив от возможного присутствия кости, она положила его в рот, вяло прожевывая.

Деромантизация, дедраматизация... Научились слова произносить. Не это тебя беспокоит! Всю жизнь при ком-то, всю жизнь на страже чего-то — и вроде дело делает. Вот уж кого, честно, не переносил Андрей.

— Медведев, говорят, вы хороший отец.

В больших красивых пальцах Людмила крутила рюмку, в ней золотилась искорка недопитого коньяка. И рыжие коньячные искорки в ее глазах, смотревших на него.

— Хорошие отцы в наш век редкость. Мужчины вновь мечтают о матриархате.

За шею охватили ее сзади детские руки: Олечка. Людмила через спинку стула потянулась к ней, высокой стала напрягшаяся грудь под тонким свитером. Глянула

на Андрея и сочно поцеловала дочь. Снова глянула и снова поцеловала. Еще слаще, еще сочней.

— Беги!

— За Лидию Васильевну! За Лидию Васильевну тост!

— Уже!

— А я предлагаю еще раз и настаиваю: за Лидию Васильевну, которая...

Выпили за Лидию Васильевну. Людмила курила, положила ногу на ногу. Белыми пальцами с отпущенными перламутровыми ногтями поглаживала икру ноги в чулке телесного цвета. Андрей слышал этот шуршащий звук ноготков по капрону. Людмила. Люда? Мила? Людмила все-таки.

— ...и там, среди стада гиппопотамов, когда плыли по реке, Альберт Швейцер открыл путь к идее, которая его мучила. По этому поводу кто-то из менее известных англичан сказал — кстати, неплохо сказано, заметьте: «Если теперь спросят, зачем сотворены гиппопотамы, ответ должен быть один: чтобы просветить Альберта Швейцера». Неплохо? В моей жизни роль гиппопотамов сыграла молодая морковка. Да, да, не удивляйтесь. Тридцать лет прошло с тех пор, а я отлично помню, как Лидия Васильевна послала меня на рынок. Что-то Людочка заболела...

— Немировский, ты великолепен! — через всю комнату закричала Людмила. — Ты ходил для меня на базар задолго до моего рождения. И все это рассказывает на совершенно голубом глазу.

— Саша, ты, конечно, забыл. Это Галочка была маленькая.

— Да? Подымаю руки вверх. Тут я могу спутать. Но я отлично помню...

Кивая, Михалева улыбалась светлой грустной улыбкой, словно и это воспоминание принадлежало им обоим.

— ...я помню как сейчас: взял в руки молодую морковку, и именно в этот момент...

— Вас тоже посылали на базар?

— С ним это было единственный раз в жизни, и он всегда об этом вспоминает.

— Так, может быть, надо было чаще посылать?

— Лида! Мы совершенно забыли: у нас там где-то была нога. Нога! Зять наш охотился, прислал вчера с оказией кабанью ногу.

Андрей и Борька переглянулись через стол: старик неподражаем. С какой великолепной небрежностью это брошено: «Зять наш охотился...» И момент выбран точно: все уже сыты, но сохранили еще способность оценить и восхититься.

Зять, муж старшей дочери Немировских, молодой по мирному времени генерал, командовал чем-то крупным в Зауралье или в Средней Азии. Можно было представить себе эту охоту, похожую на маневры.

— Ну, знаете, родители! — Людмила вскочила молодого. — Сейчас я ревизую, что вы еще забыли. С вами только так!

Она была возбуждена. Пробегая мимо радиолы, звучащей едва слышно, прибавила звук. И почти тут же донесся ее голос из кухни:

— Медведев! Идите на помощь. Требуется мужская сила: нести!

Андрею показалось, что все вдруг смолкло. И особенно чувствовал он сейчас молчание Ани. Не глядя ни на кого, он встал.

Людмила стояла в центре кухни. Высокие каблуки, высокие сильные ноги, юбка в крупную клетку расклешена. В руке серебряная столовая ложка.

— Пробуйте.

Сунула ему в рот ложку с чесночным коричневым соусом, из своей руки кормила его.

— У-у?..

В глазах хмельные огоньки. Отняв у него из зубов, сама взяла ложку в рот. Одними зубами, не портя помады, пробовала.

— Вку-усно! — Даже носик у нее наморщился — так вкусно. — Вместе будем пахнуть чесноком.

В кухне горы вынесенной сюда посуды, вся мойка заставлена. Но это как в тумане.

— Ну что же вы, мужчина? Берите!

Она воткнула нож в толстую доску, на которой лежал изжаренный окорок, подняла и, как держала, вместе со своими руками, положила ему на руки.

— Не уроните! Тут есть что держать.

И смело глянула ему в глаза.

Он вдруг охрип, сел вдруг голос. Сердце билось редкими, сильными толчками.

А Людмила смотрела и улыбалась.

— Я тут, кажется, забыла... — Издали предупреждая о себе, говорила Лидия Васильевна. Она сунулась головой в холодильник, не глядя на них, не за дочь уже, за себя стыдясь. — Тут где-то было у меня...

— Ты точно уверена, что здесь забыла? — спросила Людмила весело. И только теперь медленно убрала руки из-под доски, из его рук. Взглядом она уже была с ним на «ты». — Несите. Я соус несу.

Окорок был килограммов на шесть весом. Андрей нес его перед собой: жареное кабанье мясо на грубой доске с воткнутым торчмя грубым ножом. Когда вносил в стеклянные двери, Людмила, замыкавшая шествие, говорила громко:

— Не уроните на кого-нибудь, Медведев! Это острый охотничий нож!

Хор изумленных голосов приветствовал их общим:

— Ну-у!..

Красный уже Борька Маслов кричал:

— Живы? Оба?

И хохотал. Жена останавливала его.

Аня с сильно блестящими глазами и румянцем на щеках о чем-то живо спорила с Семеном Семеновичем.

— Ты знаешь, действительно целая нога,— садясь рядом с ней, сказал Андрей очень естественно. А самого стыдом обдало вот за эту свою ложь, такую естественную.

Аня быстро обернулась, глаза блестели:

— Что?

Тут Михалева застучала вилкой по графину, требуя тишины. Она уже произнесла один тост, в котором кратко осветила вклад Александра Леонидовича в архитектуру: все это слабым голосом, словно сквозь усиливающуюся мигрень. Словно бы мыслительный процесс причинял ей острую боль, но, преодолевая себя, она продолжала мыслить и функционировать.

Когда стало достаточно тихо, чтоб можно было начать тост, позвонили в дверь. Лидия Васильевна встала — высокая, седая, в застроченной белой кофточке с черным шнурком-бантиком. Хоть и с опозданием, это мог быть Мирошниченко. Она радовалась за Александра Леонидовича, но тем больше врожденного достоинства было в ней сейчас. Нет, никогда в жизни ни к кому она не подлаживалась, не играла ничью роль. Просто не понимала, не могла этого.

На площадке с чемоданчиком стоял домоуправленческий слесарь Николай. Трезвый. Лицо серое. Запавшие виски. Глаза тусклые, без света.

— Нет, нет, мы не вызывали.

Он повернулся и, приволакивая ноги в обтрепанных саади и мокрых по обшлагам брюках, стал подыматься выше по лестнице. Лидия Васильевна закрыла дверь, постояла некоторое время. Чего-то она испугалась вдруг. Чего?

Николай жил в их доме на первом этаже: он, жена, дочь. Потом случилось это страшное несчастье с девочкой. Она возвращалась из школы, а из их двора, из

арки, задним ходом выезжал грузовик с фургоном. «Девочка! — крикнул шофер, высунувшись в дверцу. — Погляди, дочка, чтоб никого не задавить!»

Она и глядела, стоя на улице перед аркой, глядела, чтоб никто не попал под колеса. Она только на грузовик не смотрела, который пятился на нее. И шофер не смотрел, он и дверцу кабины за собой захлопнул. Все это случилось почти что на глазах отца: он как раз вышел с чемоданчиком из подъезда, шел по заявке кран чинить. Когда он подбежал, дочка еще была жива.

С тех пор Николай тихо запил. В последнее время он дышал с хрипением и все худел. Лидия Васильевна каждый раз говорила ему прийти в поликлинику на обследование; он только рукой махнет худою.

Все страхи в жизни были у Лидии Васильевны связаны с Александром Леонидовичем. Но чего она так испугалась сейчас? Она не могла себе объяснить. Как будто беда хотела войти в дом, и она закрыла перед ней двери.

Справившись с собой, Лидия Васильевна вернулась в столовую.

— Кто это?

— Слесарь приходил.

— Так надо было ему... — Александр Леонидович владелельно засуетился.

— Ничего не надо.

Опять позвонили.

— Я же ему сказала...

Лидия Васильевна, недовольная, пошла открывать. Но это не слесарь вернулся. В дверях, уже без шапки, снятый шарф держа в руке, стоял Зотов.

— Мильон сто тысяч извинений! — Схватив ее руку, он присосался сочными губами. — Одна надежда: повиную голову меч не сечет.

Еще недавно Лидия Васильевна относилась к нему как к сыну. Ни один обед без него не проходил; так

ухаживал, так ухаживал за Александром Леонидовичем, едва под локоток в президиум не вел. Оставшись у дверей, взглядом провожал вбслед. И корзинки пытался ей подносить, из-за чего она всегда с ним ссорилась. Людочке делал предложение. «А я еще неплохо сохранился,— сказал по этому поводу Александр Леонидович.— Зотов хочет на мне жениться».

Честно сказать, Лидия Васильевна никогда не понимала, чем он занят. Домов Зотов не строил, картин не писал: он специализировался на живописи и архитектуре. А с некоторых пор начал еще выступать по телевидению в местной программе, для чего отрастил бороду, как у передвижника. Во весь экран появлялось его бордатовое лицо: «Я только что был на вернисаже...» Сочные губы умильно сложены, словно он там, на вернисаже, семги поел и не успел рта отереть. В глазах кроткий духовный восторг, будто не о картине местного живописца идет речь, а о явлении живого Христа народу: явился, сбылось...

Со стремительностью человека, которому надо успеть раньше, чем скажут: «Нет дома», Зотов скинул пальто, оставшись в мохнатом свитере крупной вязки, «удобном для работы». Минутой позже он уже накладывал себе в тарелку винегрет, заняв место между Александром Леонидовичем и Михалевой, которая не успела произвести второй свой тост.

— В сущности, только одна проблема оставалась для меня неясной,— намеренно не замечая Зотова, говорил Александр Леонидович,— колонны или пилястры? Это надо было решить, и это меня мучило.

— Да, да, да...— поймав знакомую мелодию, закивал Зотов. И с ходу вступил в свою должность истолкователя творчества, как не глядя вступают босыми ногами в разношенные тапочки.— Я помню, как это вынашивалось...

Он даже зажмурился от ослепившего воспоминания,

а может быть, от вкуса кабаньего окорока, в который вгрызся как раз.

— Это решение — собрать пиястры в пучки,— и с той и с этой стороны обсосал хрящик,— бессмертно! Совершенно иная трактовка!

Звук обсасываемого хрящика и это «бессмертно», которое могло и к хрящику относиться, оскорбили Александра Леонидовича. Но он сдержался:

— Надеюсь, вы позволите мне самому...

— Один штрих!

— ...поскольку я, так сказать, имею некоторое касательство. Позволяете? Благодарю вас. Ростислав Юрьевич не смог, как вы все, к сроку... В силу занятости...

— Милльон сто тысяч извинений! Лидия Васильевна, стол — вне сравнения! Многообразен и восхитителен! — Он высоко поднял стопку, разом присоединяясь ко всем произнесенным без него тостам, и, безмолвно провозглашая свой, опрокинул ее в бороду. Глаза его увлажнились.— Я только что от Анохиных. Не хотел, верьте слову. Не отпускали: «Ростислав Юрьевич, будем обижаться. День свадьбы, как же так?» — «Да ведь я не генерал! Хо-хо-хо...» — «Будем обижаться!..» Пришлось, посидев немного, прямо-таки сбежать.

Зотов так привык с разбегу попадать в тон и в нотку, что все это выскочило у него раньше, чем он подумать успел. А никто не делает больших глупостей, чем ловкие мужчины и умные женщины, которые знают за собой, что они умны.

Когда Зотов поднял от еды сияющие, со слезою глаза, была общая неловкость. Только Борькина молодая обводила всех по очереди изумленными стеклышками очков.

— Как день свадьбы? Чьей? Разве у них было вообще...— говорил Александр Леонидович, себя не слыша.

— Но сердцем! — взмолился Зотов, вмиг все осознав.— Сердцем я был здесь. Лидия Васильевна знает, я

как сын...— И, свитера не пожалев, прижимал к сердцу масляные пальцы.— Самые отеческие... сыновние чувства...

— Они всегда здесь в этот день... Никогда прежде...— Смысл происшедшего доходил до Александра Леонидовича постепенно.

Многие годы Анохины обязательно являлись в этот день с поздравлениями и Зининым щебетанием. Они дорожили возможностью встретить здесь людей, от которых зависело многое; Александр Леонидович знал это и снисходительно покровительствовал. Так скрывать все эти годы... Решили — можно, пора, сами уже в силе. И Зотов первый побежал отметить.

Со всей беспощадностью открылась Александру Леонидовичу, как невесома стала та чаша весов, на которой привык он ощущать свое значение. Уже Анохин-позволил себе пренебречь, Зотов к нему спешит.

Тишина, образовавшаяся вокруг него, распространилась по комнате, и только в радиоле, прежде неслышной, виртуозно работал ударник, отбивая сумасшедшую дробь.

— Нет, вы бы видели эту свадьбу,— говорил Зотов, спеша заглядывать, заглушить.— Голову на отсечение даю — Лидия Васильевна не поверит. Полторы уточки на всех!

— Я попрошу вас!..— Немировский резко побледнел, и сочные губы Зотова, всегда произносившие одно лишь приятное, так и остались сложенными будто для поцелуя.— Я попрошу не приглашать меня за собой в лакейскую!

Он не на Зотова закричал — он закричал от обиды и боли. Но тут другая боль, незнакомая, страшная, все враз отодвинувшая, как гвоздь вошла ему в сердце.

— Саша! — Испуганная его бледностью, Лидия Васильевна пристально, как врач, глянула ему в глаза.

— Папа!

Прерывистыми частыми сигналами звонил телефон: междугородная. Людмила схватила трубку:

— Алло, алло! Галка?.. Алло, мы разговариваем... Нет, мы разговариваем, а вы подключились!.. Галка! Ты б еще позже... Она время спутала, слышите ее? — кричала Людмила весело, будто ничего не случилось. А сама испуганными глазами смотрела на отца. — Ты не спутала еще, как меня зовут? Ольга, не мешай...

Александр Леонидович сидел нахмуренный, плохо слыша; что делается вокруг, боясь вдохнуть, чтобы гвоздь не прошел насквозь. Когда боль отпустила, он увидел перед собой лицо жены. Он не видел сейчас своих глаз, Лидия Васильевна видела их. Они были такие испуганные! Глаза человека, впервые близко увидавшего свою смерть.

— Папа? Все хорошо... Да, говорим, говорим. Ольга, не рви трубку!.. Сейчас мама подойдет! — кричала Людмила весело, чтоб Галю там не напугать. А еще и потому, что всегда, при всех обстоятельствах приличия должны быть соблюдены.

Обычно, возвратясь из гостей, как бы ни было поздно, Андрей и Аня ставили чайник и пили чай у себя на кухне. Это было любимое время: дети спят, тихо, они вдвоем.

Как-то давался большой праздничный прием. Стараниями Немировского (старик об этом скромно умолчал) Анохины и Медведевы оказались в числе приглашенных. По этому поводу было много волнений. Зина прибегала советоваться: что надеть? какую лучше прическу? Были волнения и там, в зале. Виктор все тянул вперед, к столу, поставленному во главе, в который все столы упирались торцами. Стол этот пустовал пока что. «Пойдемте ближе. Туда. Там все видно». Но вот туда-то, на глаза, Андрею как раз не хотелось. Пока препирались, в об-

щем движении все переместилось само собой, как и должно было произойти. «Ну вот видишь, Андрей! — говорила Зина, очень расстроившаяся. — Видишь, тут ничего не видно. Все из-за тебя!» И на цыпочки подымалась, чтоб хоть из-за голов рассмотреть, хоть глазами присутствовать.

Провозгласили тост, второй, третий, и Андрей шепнул Ане: «Пойду детям позвоню». — «Уже соскучился? Мы только из дому». — «Я быстро, ты не ходи». Аня после рассказывала не раз, как даже она, мать, ничего не чувствовала, а он почувствовал на расстоянии. Ничего он не почувствовал, просто после двух рюмок захотелось услышать голоса своих детей.

Мимо официантов, несших блюда с горячим, они шли искать телефон. «Нет, ты сумасшедший, — говорила Аня. — Ты просто сумасшедший». Но оказалось, они звонят вовремя. Он услышал в трубке Машенькин голос: «Папа, он мне запретил говорить! Он у меня вырывает трубку. У него страшно порезана нога. Страшно!..»

Когда они примчались домой, оказалось, у Мити вся ступня распорота стеклом, и крови вытекло много. С сыном на руках Андрей выскочил на улицу. Город как вымер: праздник. Их подобрал автобус. Пассажиров в нем было половина салона: в гости, из гостей. Не тормозя на остановках, не по своему маршруту огромный автобус мчал их в больницу. Нет, не святые люди в обычной своей жизни. Но за то, что в беде способны забыть себя, за то, что всегда есть такие ребята, как этот шофер — ни слова не сказал, увидел, открыл дверь и помчал их по городу, — пусть многое за это простится людям.

А потом, когда Митю привезли домой и он, как потерпевший, был обласкан сестренкой и матерью и лежал в окружении альбомов с марками, нацеля забинтованную ногу в потолок, Андрей вдруг почувствовал, что голоден смертельно. У Ани были кислые щи, его люби-

мые. Она тотчас разогрела их. Андрей налил себе водки. «Тебе налить?» — «Знаешь, налей.— И, любящими глазами глядя на него, спросила: — Плохо быть папой?» — «Нет, хорошо».

Все хорошо. Мир, дети с ними рядом, хлеб, который они едят, заработан честным трудом. Хорошо. Костюм, и галстук, и крахмальная рубашка висели в шкафу, а они сидели у себя на кухне по-домашнему, и полная тарелка с огромной мозговой костью стояла на столе, и пар шел. Всё хорошо.

Но отчего-то в этот раз, когда они вернулись от Немировских, и кухня и передняя — вся их квартира показалась Андрею совсем уж какой-то маленькой.

Он зажег газ, поставил чайник. Аня переодевалась в ванной.

— Знаешь,— сказал он,— вот у Немировских есть то, что раньше называли домом. Дом... Это совсем особая вся атмосфера.

Аня выбирала шпильки из волос перед зеркалом, не отвечала ему. Но он почувствовал ее молчание.

— Но Анохин! Решил, что можно уже, пора...

— Меня не интересует твой бывший друг. И не интересовал прежде. Это ты был слеп.

Из ванной голос Ани раздавался гулко. Андрей взял более безопасную тему:

— Слушай, но что с Зотовым случилось? Так не попасть. Совсем на него не похоже. Мне даже жаль старика стало, когда он закричал: «Не зовите меня с собой в лакейскую!»

— Ах, скажите пожалуйста! — Аня вышла из ванной и стояла в дверях. В длинном застегнутом халате она казалась высокой.— Не зовите в лакейскую... А где он жизнь провел? Только все это благородно обставлялось. Декорум соответствующий. Лживый, отвратительный дом! — говорила она с враждебностью, и глаза ее сильно блестели, как там, у Немировских, когда он

вместе с Людмилой внес мясо и потом сел около нее.— Все насквозь лживое, изолгавшееся. Атмосфера тебе понравилась... Даже эта их естественность лживая вся.

— Ты детей разбудишь.

— Единственный нормальный живой человек в доме — Лидия Васильевна. Вот кого можно уважать. Так превращают ее в идиотку. И ребенка погубят. Погубили уже.

Со старательностью провинившегося Андрей ставил блюдечки.

— Ты со сливой будешь? Или с вишней?

Все так же держа руки в карманах халата, Аня безразлично смотрела на него. Она так близко чувствовала его сегодня, так хотела вернуться домой, и чтобы дети уже к этому времени спали.

— Эх ты-и!..— сказала она.— Не много же тебе нужно, оказывается. Такой же, как все.

## ГЛАВА XVII

Теперь Александру Леонидовичу Немировскому и не упомянуть уже и не сосчитать, сколько раз в своей жизни он выходил на сцену, чтобы занять место в президиуме. А ведь и тут когда-то было свое «впервые». И вот оно памятно.

К тому времени он уже столько раз слушал привычную формулировку: «Товарищей, избранных в президиум, просят занять свои места». Он сидел в зале, а они подымались, выходили из рядов, избранные. И настал день, когда он вот так поднялся впервые.

На сцену выходили, соблюдая неписанный ритуал, пропуская друг друга вперед. И там, где выстроились стулья, тоже было некоторое стеснение, все стремились в задний ряд, за спины. И вот впервые в жизни он — в президиуме, а внизу — зал, ряды, уходящие в темноту, головы, головы, лица.

Всю свою дальнейшую жизнь столько раз с тех пор он подымался и шел из рядов, словно бы неся груз нелегкой обязанности. Он сидел в президиуме и сзади, и сбоку, и в центре: Случалось, вставал, рукой направляя к себе микрофон: «Товарищи, поступило предложение... Кто «за»?.. Кто «против»?.. Есть воздержавшиеся?.. Принято единогласно».

Были собрания, совещания, пленумы, торжественные заседания. Надевалась свежая крахмальная сорочка, затягивался узел галстука под кадыком. На билете, присылавшемся ему, неизменный штамп: «Президиум». И вновь вместе со всеми он подымался на сцену, вновь выходил из-за кулис на яркий свет. Целая жизнь. Был даже специально куплен черный дакроновый костюм: для особо торжественных случаев. Кстати, и это решилось в президиуме. Сидевший рядом с ним директор горторга Турубаров шепнул, когда погасли направленные на них юпитеры: «Александр Леонидович, что же это вы так мучите себя в шерстяном костюме, так себя не бережете? Ай-яй-яй! И слова не скажете! Да кому ж тогда, если не таким людям?.. Не верите вы в наши творческие возможности...» И в следующий раз Александр Леонидович сидел уже в дакроновом костюме, невесомом, продувавшемся насквозь. «Жизнь узнал», — как говорил он после.

Случалось, опоздав, Немировский садился скромненько в конце зала, где-нибудь у дверей. Но и тут непременно находились двое-трое доброжелателей: «Александр Леонидович, вас выбрали в президиум... Туда, туда, Александр Леонидович. Вам туда...» Он делал отстраняющие жесты, как человек, стремящийся укрыться от излишнего внимания, но среда сама выталкивала его наверх. Потом председательствующий, выцелив орлиным взором, подыметя и, прежде чем дать слово очередному оратору, скажет, заранее улыбаясь: «Тут,

как нам стало известно, укрывается от исполнения своих прямых обязанностей товарищ Немировский. Как, товарищ Немировский, может быть, уважим волю большинства?..» И при веселом оживлении зала он бывал вынужден идти на сцену, всячески стараясь не привлекать внимания, так сказать, не заострять его на своей персоне.

Но сегодня, вот сегодня как раз ему не следовало опаздывать. Был ряд не совсем приятных симптомов. Так, например, ему почему-то не предложили выступить: Прежде он, как правило, выступал на городских активах. И в этот раз тоже по привычке начал готовиться, запросил некоторые материалы. Уже выстраивался в голове общий каркас выступления.

Вначале о недостатках, это придаст выступлению нужную остроту. Не смакуя, не размазывая наших теневых сторон, он будет говорить с сознанием долга и ответственности. Один остроумец, правда, сказал как-то: «Наш Александр Леонидович и критику умеет преподнести поздравительным тоном». Но от остроумцев никто из нас не защищен, в последнее время их вообще развелось слишком много.

Итак, вначале о недостатках. Потом, сделав паузу, он скажет в раздумье, с оттенком самоиронии, как мысль, сейчас только пришедшую ему в голову: «Впрочем, когда мы поражаемся нашему несовершенству и реагируем порой излишне горячо...» И тут он приведет какой-нибудь удачный исторический пример.

Все счастливо блеснувшие мысли, все, что вдохновенно творится на трибуне, на глазах у людей,— все это должно быть тщательно подготовлено и даже отрепетировано. Александру Леонидовичу принадлежала фраза: «Прежде чем сымпровизировать, надо завизировать...»

Умение придать обычному хозяйственному мероприятию исторический смысл и глубину, привлечь пару-тройку древних мыслителей, которые, как выяснилось, и на этот счет успели высказаться,— все это составляло пер-

сональный багаж Александра Леонидовича. Его выступления как бы приоткрывали дверь в сокровищницу мирового интеллекта, и становилось ясно, о чем мечтали мыслители на протяжении веков и тысячелетий.

Но почему-то сегодня ему не предложили выступить. Многолетний опыт говорил, что тут случайностей не бывает: столько судебных за годы прошло перед ним! Но сейчас это касалось его, и хотелось думать, что все это еще ничего не означает. Тем не менее он сделал на всякий случай контрольные звонки людям своего уровня. Обычный деловой разговор и как бы между прочим: «Ты, кстати, думаешь сегодня в своем выступлении поставить вопрос о...»

Выяснилось, что из троих не предложено выступить только Осокину, про которого последнее время все чаще говорилось с оттенком нетерпения: «он недопонимает», «он не хочет понять». Дело явно шло к пенсии. И все видели это, один Осокин терялся в догадках, не мог взять в толк, чего он «не хочет понять». Оказаться с ним на одной доске... Александру Леонидовичу тревожно стало.

«Подумав, он сделал еще один звонок. Выше. Посоветоваться о возможной инициативе, так сказать, провентилировать вопрос. Ему показалось, что разговаривали с ним на этот раз как-то вяло, интереса проявлено не было. К инициативе? К нему? И даже во время разговора несколько раз: «Минуточку!» — клали трубку и говорили по другому телефону. Он слышал обрывки этих разговоров, смех. Но даже «извините» не было сказано. Александр Леонидович почувствовал растерянность. И телефон сегодня как-то странно молчал весь день, словно отключились связи.

Ближе к часу, когда он уже надевал пальто, раздался звонок. Он услышал бас своей секретарши: «Кто? Не понимаю, кто?..»

Не только по фамилиям — по именам-отчествам По-

лина Николаевна знала в городе всех, кого следовало знать; близко знала жен, их вкусы, помнила даты. Она не могла ошибиться. И тем не менее раньше, чем прозвучало: «Товарища Немировского нет», он крикнул через стену: «Я взял!» — и нервно схватил трубку.

Говорил какой-то Клейменов — так, что-то вспоминалось отдаленно. И разговор абсолютно бессмысленный. Только в конце:

— Так вы там будете? Я тоже буду там...

Болван! Он, видите ли, тоже и с этим обзванивает человечество.

В шляпе несколько набекрень, пальто расстегнуто, концы мохерового шарфа висят, Александр Леонидович вышел к секретарше:

— Я на актив.

С пониманием серьезности его занятий, с уважением к месту, куда он направлялся, Полина Николаевна прикрыла глаза и наклонила голову.

Вот дома он, к сожалению, такого понимания не находил. Помнившая все малейшее, что касалось его самого, немногочисленной его родни, к которой он был прохладен, тут, в этой сфере жизни, Лидия Васильевна была на редкость беспонятна. Сущим мучением было рассказывать ей что-либо. Дело даже не в том, что посреди рассказа, в самый, что называется, кульминационный момент она могла спросить: «Ты не забыл принять желудочный сок?» Хуже другое: все то, что человек, живущий интересами службы, хватает на лету, ей нужно было растолковывать. А объяснять механизм интриги — это все равно что разъяснять анекдот: самая соль пропадает.

Она сохранила себя в каком-то первозданном состоянии. Вечно путала, кто звонил, не улавливала, что этот звонок мог означать. Случалось даже так, что была особенно сердечна с совершенно незначительным человеком и могла не оказать никакого внимания тому, кого, уж

во всяком случае, знать следовало. Александр Леонидович раздражался, устраивал сцены, но объяснить жене так, чтоб она поняла, он не мог. И не потому только, что она все равно бы не запомнила. Объяснять — значило в словах высказать и признать самому тот факт, что для него тоже люди распределялись в соответствии с их положением и весом. А это, конечно, не так, потому что так это быть не могло.

Пониманием, которого не встречал он дома, в высшей степени была одарена Полина Николаевна. Вот уже лет пятнадцать говорил он ей: «Я на актив... Я в горком!» И была в этой как бы небрежно брошенной фразе особая сладость.

Вернувшись, ей первой сообщал: «Произошел интересный обмен мнениями». Правда, после того как широко распространился анекдот о том, что значит обменяться мнениями с начальством (прийти со своим, уйти с его мнением), Александр Леонидович несколько изменил формулировку: «Был интересный диалог...» И встречал у Полины Николаевны полное понимание.

Кураящая, яркая, молодящаяся, она боготворила его. Раньше она боготворила своего мужа, генерала интендантской службы, который, как она говорила всем, умер от ран. Память Николая Ивановича была священна, но без кумира она жить не могла. Обладая не только басом, но и многими чертами генеральского характера, которых так недоставало ее мужу при жизни, Полина Николаевна должна была повелевать и подчиняться. Лишь в этой цепи, где есть нижестоящие и есть люди, поставленные наивысше, все обретало выстроенный порядок и смысл. Ее кумиром стал Александр Леонидович. Она же — его деловой памятью, его амортизатором, смягчавшим внешние толчки и грубые прикосновения жизни. Все шло через нее, и многое здесь отфильтровывалось.

Для Александра Леонидовича не оставалось тайной, что камни, массивные броши на массивную грудь — все

это надевалось для него. Но женщины такого типа и такого возраста для него просто не существовали. С тонкой иронией он позволял себе иногда при гостях копировать некую даму, и всякий раз Лидия Васильевна очень сердилась. Она жалела ее холодную бездетную старость, за полтора десятка лет сроднилась и на все праздники, на Новый год непременно звала Полину Николаевну к ним, понимая, что для одинокого человека праздник — самое безрадостное время.

Встревоженными глазами Полина Николаевна оглядела его от ворсистой шляпы до носков сверкающих ботинок.

— У вас что-то вот здесь...

И с осторожностью, с какой она мысленно коснулась его шарфа, Полина Николаевна рукой в перстнях дотронулась до своего бюста. До правой половины. Александр Леонидович, как в зеркале отразясь, посмотрел соответственно на левую часть шарфа, но скорректировал себя и снял пушинку. И вдруг легкомысленно подул на нее, пуская по воздуху, как прощальный привет. Ах, Александр Леонидыч, Александр Леонидыч! Никакой строгости...

Он уже был в дверях, когда вновь зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Людочка! — басила Полина Николаевна: с ней, с отцовской любимицей, у нее были особые, интимные отношения.— Александр Леонидыч?

Черные, навывкате, с маслеными белками глаза Полины Николаевны испуганно остерегали, она даже рукой помахала, чтоб он не возвращался. Нехорошо возвращаться. Но он вернулся в кабинет, прикрыл за собой дверь.

— Па? Здравствуй. Я позвонила сказать, что я тебя люблю. Тебя это интересует?

— Ты одна?

— Если не считать Ольги.

Она помедлила, прежде чем ответить, и он по-своему

понял это. Он понял, что это связано с его вопросом «ты одна?». Но причина была иная. Лежа на тахте и разговаривая по телефону, который стоял у нее под рукой, Людмила делала то, что делают незанятые женщины: подрезала и пилкой шлифовала ногти. Случайно больше, чем нужно, отрезала заусеницу, выступила капелька крови. Людмила пососала палец, посмотрела, опять пососала. И сейчас вновь смотрела на него и думала, что предпринять.

— Что делаешь?

— С тобой говорю, па.

— Курю?

— Спрашиваешь!

Он мысленно увидел сейчас ее в обычной ее позе на тахте, с телефоном в обнимку и с книгой. На ковре у ножки тахты — пепельница, в которую она стряхивает пепел сигареты. И пара вышитых бархатных туфелек без задников, с помпонами и загнутыми вверх золотистыми носами. Никогда Александр Леонидович не был на Таити, но дочь свою в минуты нежности почему-то называл «таитяночка».

В двенадцать лет — этот возраст был ему особенно памятен — она бегала длинноногая, худая, смуглая, колени вечно разбиты. Как все в жизни быстро свершается!.. На заднем дворе в вечной тени была у них кирпичная стена. Старая, зеленая, сырая; кирпич в ней выкрашивался, как песок. Они ставили к стене бутылки и по очереди с Лялькой стреляли из мелкокалиберки: «Лялька!» — «Па!»

В этот ее приезд они особенно сблизились. Наверное, потому, что плохо ей сейчас.

Александр Леонидович снял шляпу, положил на чертежный стол. Она поехала вниз по скользкой кальке. Подхватив — зашелестевшая калька над чертежом поднялась с ней вместе, наэлектризованная, — переложил шляпу на пустой стул. И когда клал, увидел на своей

руке темное пигментное пятно. Впервые увидел. На тыльной стороне кисти, на вздувшейся вене сидело пятно.

Он разговаривал по телефону и рассматривал его, сжимая и разжимая пальцы. И пятно вместе с кожей то растягивалось и светлело, то делалось коричневым. Как же он раньше не замечал? А ведь это уже необратимо. Это старость отметила. Все можно исправить, изменить, но это необратимо. И кожа глянцевиная, истончившаяся.

— Необратимо,— повторил он, делая себе больно.

— Па, ты мне сегодня не нравишься.

У него сладко защемило в душе, глазам стало горячо.

Взять бы да поехать с Лялькой куда-нибудь в дом отдыха. В глушь. Она бодрится, а конечно, надо нервишки поправить. Да и ему тоже отдохнуть.

Нет, двенадцать Лялькиных лет не вернешь. Это ему радостно и гордо быть отцом молодой красивой женщины. А ей радость поехать не с ним.

Он взглянул на часы. Время еще оставалось, но сегодня следовало приехать пораньше, кой-кого повидать, почувствовать общую атмосферу.

— Ergo, договоримся так: сама продумаешь мероприятия на субботу и воскресенье. При этом должно быть учтено; а — мнение матери, бэ — мнение Ольги. Никаких дел, растительный образ жизни, на травке, на травке попасть. Созыв за вами.

За час до начала совещания Анохин еще был в аэропорту: провожали японскую делегацию, которая посетила их город. Делегация прибыла вечером, ужинала, с утра осматривала промышленное предприятие, водохранилище, церковь XVI. века, жилой массив. Все прошло хорошо: и беседа с рабочими и поездка по водохранили-

шу. Они мчались по воде на подводных крыльях, а машины двигались по берегу, чтобы встретить их. Правда, в жилом массиве произошла небольшая накладочка, но, кажется, никто не заметил, а значит, и не было ничего.

Бородин лично показывал город и даже старался не только своими, но ихними, японцев, глазами взглянуть на свой город. И убеждался, что им все нравится.

Обед был дан с размахом. Бородин, на полголовы выше любого из делегации и много крупней, произнес тост, и японцы понравились ему окончательно. А тут еще перед их приездом рассказали ему подходящий анекдот про то, как японского архитектора водили по новостройке, он везде улыбался, кивал, все ему нравилось, но только он почему-то повторял: «Очень печально, очень печально...» Наверное, все русские слова у него перемешались. И вот теперь, глядя, как они едят и хорошо пьют русскую водку, Бородин думал про себя: «Вот тебе и очень печально...»

В число лиц, занятых с делегацией, был включен и Анохин, «в число официальных лиц», как он это мысленно для себя сформулировал. Бородин даже оказал ему определенное доверие, перед самым приездом делегации сказав: «Подготовьте мои возможные соображения». Анохин чувствовал себя поощренным, старался, выдержкой и непроницаемостью превосходя японцев.

Перед отлетом на аэродроме, растолковав через переводчика, что оно означает по-русски, «посошок на дорогу», Бородин повел делегацию на второй этаж, где крахмальными скатертями был накрыт стол. Анохин и еще несколько человек остались ждать внизу. В пальто, в шляпах, они курили, любезно разговаривали друг с другом, как будто представляли разные делегации: тон официальности сохранялся и в отсутствие японцев.

Конечно, было, было нечто обидное в том, что его не позвали наверх. Но Виктор умел не замечать, он умел ждать терпеливо. Он знал: придет время, когда он бу-

дет сидеть там, наверху, в зале. На одну незримую ступеньку он все же поднялся сегодня.

Сунув руки в карманы пальто, весь как бы расширившийся, он стоял спиной к стеклянной стене, к свету. Ноги расставлены крепко, голова склонена, на лице, неясно видном против света, думающее, сосредоточенное, творческое выражение. Из-под полей шляпы поблескивают очки.

Наверху зашумели, показалась японская делегация. У всех блестели очки, блестели лица. Рядом с Бородиным они были как дети. Прилично одетые дети, в костюмах, в галстуках, в очках, все улыбающиеся. И те, кто спускался с ними по лестнице, тоже улыбались. Но еще радостней улыбались ожидавшие внизу. «Все мы для них на одно лицо, как они для нас,— мысленно утешил себя Виктор, поскольку было все же что-то неловкое в его положении.— Помнят они, что ли, кто с ними был, кто здесь оставался?..»

Соблюдая определенный порядок, вышли на летное поле. Японцы поднялись по трапу. Маленькие издали, они махали оттуда и по одному скрывались в темноте распахнутой двери самолета, по бокам которой стояли стюардессы. И провожающие, подняв шляпы над головами, прощально замахали.

Последние улыбки. Последние минуты. Чувство облегчения. А в мыслях у каждого уже свои дела.

Идеально было бы прийти минут за пятнадцать до начала, но, как нарочно, на улице Александра Леонидовича задержал Иванчишин.

Занятый своими мыслями, Немировский прошел мимо, потом по зрительному впечатлению обернулся. И пожалел, что обернулся. С палкой, в бобровом воротнике, остановась посреди сквера, на него смотрел человек, в злых глазах стеклом блестела старческая слеза.

Не в том еще возрасте был Александр Леонидович, чтобы мысль отставала от ног. А способность мгновенно отличать людей определенного уровня, с ходу сказать несколько приятных слов, даже и не вспомнив хорошенько, кто это,— такая способность была развита в нем. Но он не узнал Иванчишина потому, что того нельзя было узнать. Все повисло на нем. Ратиновая шуба с бобровым, от прежних времен, широким потершимся воротником была ему велика, словно с боярского плеча. На ярком весеннем солнце она казалась пыльной, тяжелой, особенно зимней рядом с франтоватым, до колен джерси Немировского, какие только начинали входить в моду, редкостью были в их городе, но Александр Леонидович имел смелость надеть такое пальто.

Длинными полами шуба тянула книзу, и Александр Леонидович со свойственной ему живостью воображения физически ощутил, как шуба гнетет худой позвоночник Иванчишина, его худые лопатки.

— Да, да, да... Не узнают... — Не слушая приятных уверений, Иванчишин непримиримо тряс головой, и желтая кожа под подбородком тряслась. — А узнавали... — Тут он погрозил кому-то худым и даже на вид холодным пальцем. И вдруг, избоченясь, юродствуя, расставя руки с палкой, пропищал: — Уже не узнают!

«Ведь он моих лет...» — со страхом думал Александр Леонидович, так ясно, близко в другом человеке увидавший смерть и инстинктивно отстраняясь.

Иванчишин был местный драматург, «певец рабочей темы», как писали о нем, когда успех неожиданно настиг его. Робкий поначалу до самоуничтожения, он принес в театр нечто полуграмотное. Усилиями главного режиссера и двух привлеченных для этого опытных инсценировщиков, которые в дальнейшем остались в тени, действие из железнодорожных мастерских перенесли на крупный металлургический завод, героя переделали в героиню, и пьеса с шумом пошла. Устраивались премьеры

ры, коллективные просмотры, Иванчишин выходил кланяться публике, весь потный пятился со сцены и снова выходил, протянутыми руками молитвенно адресуя успех величественному режиссеру. Но потом купил себе шапку, палку, влез в шубу и уже маститым драматургом поучал, встречался со зрителями, делился творческим опытом с молодежью.

Жена его, полжизни проведенная в байковом халате у плиты, позабавила местных дам на премьере своим специально сшитым платьем, которое словно из реквизита было взято. На вежливые вопросы о творческих планах ее мужа сообщала всем простоудушно: «Он теперь готовит новый подарок к празднику».

«Новому подарку» не суждено было увидеть сцены, а нашумевший спектакль закончился изнурительной финансовой тяжбой драматурга с главным режиссером.

Александр Леонидович и раньше знал, как опасно попасть на глаза Иванчишину. Того хуже оказаться с ним рядом в президиуме. Начинались сразу же раздраженные жалобы на врагов, которые засели повсюду и не пускают. И не было жалобам конца, и надо было все это выслушивать, а в голубых глазах Иванчишина мерцал временами такой пещерный мрак, какой не электричество даже — лучина не осветила еще ни разу.

— Пишу, пишу! — пришепетывая, отчего получалось «пищу», но громко, на весь сквер, чтоб люди слышали, говорил Иванчишин с угрозой, и Александр Леонидович страдал от этого неприлично громкого голоса, оттого, что их видят вместе. Но все же шел рядом со стучащей в землю палкой, и лицо его держало солидное выражение человека, занятого деловой беседой, тем самым как бы делая стыдное не стыдным.— Тржусь! Вот новую пьесу завершаю в первой редакции. Полифоническая народная драма! (Все это громко!) Поторопились списать Иванчишина со счетов...

Он театрально приподнял потертую, выбитую молью

бровную круглую шапку с бархатным верхом, и крашенные, седые от корней волосы поднялись и мертво легли на отпотевшей голове.

Боже мой, ведь этому человеку жить ничего не осталось, а он все клокочет, сводит счеты, кому-то грозит. Неужели и мы все так?

Александр Леонидович чуть было ботинком не ступил в малую лужицу на дорожке, уже и ногу занес, но вовремя поберегся, успел обойти в последний момент, не намочив тонких кожаных подошв.

Наконец ему удалось отвязаться от Иванчишина. Отойдя, он расправился, вдохнул всей грудью весенний воздух. Мудрей ли делает нас чужое несчастье, или оно дает иное измерение собственным бедам, но в эту минуту он с особенным удовольствием чувствовал, как эластично расширяются и вновь сходятся межреберные мышцы и мышцы его груди. Он ощущал пружинистую силу своих ног, несших его. И даже то, что он, кажется, опаздывал, было ничто в сравнении с главным, дарованным ему.

Два лифта, как две чаши весов, попеременно подымались и опускались. И вновь за металлической сеткой несли вверх тесно стоящих друг к другу людей.

Машущие наружные двери не успевали закрываться. В какой-то момент они так и остались распахнутыми, и от лифта было видно, как из подъехавшей машины вылез Смолеев. Стремительно пересек тротуар, мимо тех, кто уступал ему дорогу, мимо выстроившихся у лифтов очередей направился к лестнице, показывая мужчинам пример. И, устыдившись под его веселым взглядом, устремились за ним гурьбой. Толпясь, бодраясь, отчего-то испытывая радость, множество людей громко подымалось по лестнице, множество подошв топало ковровую дорожку, белый, как нескончаемое поло-

тенце, холщовый половик, расстеленный без единой морщины.

А внизу с выражением человека, которого не взяли с собой, стоял инвалид на двух расставленных протезах, палкой упираясь в пол. К нему одному мимо бодро идущих людей опускался лифт как бы его персональный, блистая внутри зеркалом и полированным деревом. Устремившийся было за всеми, утянутый общим ветром, Андрей увидел его, и стыдно вдруг стало.

Когда на повороте лестницы со строгостью, но и с улыбкой, зовущей к общему веселью, Смолеев оглянулся, внизу у открытого лифта стояли двое. Одного он узнал. Это был Медведев. Он смотрел на идущих вверх людей, будто за всех за них стыдился. И вот это Смолеев увидел, это впечатление осталось четко.

Смолеев не задумывался над причиной того радостного оживления, которое вызывал он в людях. И его неприятно поразило, как смотрел Медведев, стоявший внизу.

Оба лифта были наверху, вестибюль пуст, и Александр Леонидович решил не ждать. Он шел по знакомой лестнице, сдерживая себя, чтоб не торопиться. Один марш, другой. И вот из зеркала на площадке, как из-за холма, начал подыматься навстречу ему он сам: голова, плечи и наконец весь он, во весь рост, ступивший кожаным ботинком на холщовую дорожку. Сойдясь, они поправили друг перед другом галстук, повернулись спинами и разошлись по маршам лестницы: один от зеркала, другой в глубину его.

За то небольшое время, пока сходились, Александр Леонидович придирчиво рассмотрел себя. Нет, ему не дашь его годы. И есть то, что он всегда хотел в себе видеть: достоинство при общей обремененности заботами, солидность и некоторая независимость. Даже в том, как сидел на нем пиджак.

Подымаясь по последнему маршу, он успевал о ступеньки, о холщовый половичок незаметно почистить на ходу носки ботинок, на которых в зеркале заметил несколько брызг засохшей грязи. Оглянулся. Нет, никто не видел. Ботинки вновь засверкали, будто он не пешком сюда шел, а приехал в машине, с коврика на коврик соспустил, даже не запыхав подошв.

Наверху в фойе все двери в зал были закрыты. Лаком блестел паркет, ряд окон слева, ряд закрытых дверей справа. И далеко видно вдаль. По тишине и голосу, едва внятно раздававшемуся за дверьми, Александр Леонидович безошибочно определил: доклад начался. Хорошо. Очень нехорошо.

Несколько опоздавших, запыхавшись, нагнали его:  
— И вы тоже? Ну, значит, мы не одни...

И устремились в приоткрывшуюся дверь. Он хотел было проникнуть с ними вместе, но они запротестовали уважительно:

— Ваши двери там... Туда, туда...

Александр Леонидович еще колебался, какое-то сомнение пошевелилось в душе, но женщина, стоявшая у входа изнутри, тоже улыбкой направила его дальше, одновременно строго покачав головой на опоздавших. И прежде чем он решил что-либо определенно, ноги сами уже несли его, достойно шагали, пересекая завесы солнечного света, косо упиравшегося в блестящий паркет, в котором и он отражался, как в мутном стекле.

А от тех двустворчатых белых дверей, которые вели за сцену и в президиум, вставала пожилая дама в форменной одежде, издали завидя и узнав его. Сто лет Александр Леонидович знал ее, и сто лет она его знала. Она почтительно называла его по имени-отчеству, он же всякий раз спохватывался, что опять забыл, как ее зовут, и отделялся неразборчивым бормотанием, где отчетливо звучало только заключительное «...вна».

Улыбаясь, она привычно открыла перед ним двери. И за сценой, где громко звучал голос докладчика и ощущалась тишина зала, а в полутьме кулис блестели масляные тросы, свешивались веревки и полотнища, кто-то сделал движение остановить, но, узнав (Александр Леонидович дал время узнать себя), почтительно отступил.

Чуть колыхалась тяжелая кулиса. Глянув из-за нее, Александр Леонидович высмотрел местечко с краю в заднем ряду. Собрался, решился и, мягко ступая, пошел на виду у всех, на ярком свете, с тем деловитым выражением опоздавшего, который хотя и не присутствовал физически, но все время функционировал и вот теперь включается непосредственно.

Ослепленный в первый момент, он все же заметил главное: сидевший в центре стола у микрофона Бородин недовольно глянул в его сторону, что-то сказал, оттуда начали оборачиваться на Немировского, некоторые с веселым любопытством. Александр Леонидович кивал, сохраняя деловитое выражение, и даже сделал отстраняющий жест рукой: ему показалось, что его приглашают пересечь из заднего ряда к столу. Поблизости от себя он тоже слышал шепоток: его опоздание развлекло всех.

Постепенно световая завеса перед глазами рассеялась, дыхание улеглось; всего-то несколько шагов сделал по сцене, а сердце заколотилось, как будто стартовал на дистанции. Александр Леонидович видел зал, узнавал многие лица.

Его появление и здесь вызвало интерес. В первых рядах перешептывались, кто-то даже показывал на него снизу. Что ж, его знали в городе, это он мог сказать. Он был сейчас в своей среде, на своем месте, часть единого целого.

Все шло как всегда. Положа руки на крылья трибуны, докладчик то приближал себя к тексту — и тогда

голос его в микрофоне усиливался, то отдалялся — и голос затихал. А две стенографистки за маленьким столиком записывали то, что, отпечатанное, выверенное и заранее обсужденное, лежало перед ним. По временам появлялся из-за кулис человек с бумагами, бесшумно подходил к столу президиума и, пошептавшись, исчезал. Это старинным пешим способом действовала связь на том небольшом промежутке, где современные средства связи отсутствовали.

Знакомое думающее выражение видел Александр Леонидович на многих лицах. Под это выражение, солидно кивая, удобно переговариваться негромко о делах и даже решать вопросы.

Сложные могучие руки на груди, сидел во втором ряду президиума директор химкомбината Николаев. (Между прочим, все-таки подтверждается слух, что он станет одновременно и замминистра!) Сидит, стеклянным грозным взглядом упершись в дальнюю стену, а мысли еще дальше. У этого человека орденов столько же, сколько выговоров. В свое время, когда отводилась территория для поселка химкомбината, Александр Леонидович смог убедиться, что перед напором Николаева не устоит никто и ничто.

От стола через спинку стула перегнулся к нему Смолеев, говорит что-то. И Николаев оживился. Они всегда в президиуме переговариваются друг с другом.

Рядом с Александром Леонидовичем — Кузовлева, директор трикотажной фабрики. Мужского склада блондинка с накладной косой на голове, она всегда сидит торжественно-прямая, всегда записывает в блокноте. Что она там записывает?

Привыкнув с шуткой выходить из затруднительных положений и многое в шутку обращать, Александр Леонидович создал себе своего рода защитный механизм. С тонкими смешными подробностями, с иронией, прищурясь, рассказывал он об официальной стороне своей

жизни и уже действия других людей заранее видел и оценивал в ироническом плане. Постоянным персонажем его рассказов была эта, пардон, ответственная дама с сооружением на голове, Кузовлева, которую он прозвал «летописец наших дум и дел». Тем почтительней бывал он с ней при встречах. И сейчас, наклонясь, хотел спросить с большой серьезностью, на сколько времени рассчитан доклад. Но тут вспыхнули юпитеры, застрекотала кинокамера. И пока объектив направлен был в его сторону, думающее выражение сохранялось на его лице. Потом он вновь стал видеть вокруг себя.

Те, кого за столом президиума камера искала особо, как от мухи надоедливой отворачивались от нее, представляя оператору самому ловить момент. Другие и шею вытянут, и меж чужих плеч высунутся, и лицо сделают, а объектив все мимо да мимо.

Удовольствием Александра Леонидовича и завгорздравотделом Ленюшкина — они обычно рядом садились, — особым удовольствием двух людей, ценящих юмор, было наблюдать присутствующих. Неизменно радовал Сеченов, завгороно. Однофамилец великого физиолога был известен в городе еще и тем, что однажды, разволновавшись, запутался в многочисленных «анти» и с трибуны назвал чье-то выступление антипозорным.

Обычно в моменты киносъемок и фотографирования Сеченов совершенно терял себя. Весь извертится, чтобы хоть краешком попасть в объектив, но такое уж его везение, что вечно он оказывался за чьей-либо спиной или за корзиной с цветами. Александр Леонидович представлял, как это происходит дальше: «Вон видите на фотографии корзина белых хризантем? Так за ней — я...»

Ленюшкин сидел за Кузовлевой, покусывал дужку очков, щурился, собрав морщины у глаз. Александр Леонидович ждал, когда погаснут юпитеры, чтобы спросить Ленюшкина будто невзначай (фраза сама уже об-

маслилась в уме): «Вы не заметили, случайно, удалось все же бедняге Сеченову избежать объектива?»

Юпитеры погасли. Желтые, будто померкшие, горели люстры. Они разгорались постепенно, видней становился зал внизу, и странное волнение чувствовал сейчас Александр Леонидович. Встреча ли с Иванчишиным подействовала или та неуверенность, которую он испытал, когда, опоздавший, шел по гулкому фойе, а потом его чуть не остановили за кулисами, но пропустили, узнав. Всегда охраняемый положением, именем, он вдруг почувствовал беспомощность и страх: сейчас подойдут и скажут, что ему сюда нельзя. И надо будет выйти с позором. (Этот миг неуверенности он стоял с начальственно-нетерпеливым выражением, сверху вниз глядя не на подходивших к нему, а на пространство пола, которое их разделяло. И они это пространство не переступили.)

Тем радостней, отдохновенней ощущал он себя сейчас в своей среде. Он был на своем месте и чувствовал это. В конце концов, он всей своей жизнью заслужил право. Он, может быть, и не построил и не создал многое из того, что хотел и мог, потому только, что добровольно принес себя в жертву. В молодости еще он признал над собой власть «надо». «Надо» — и он отрывался от дел. И, если хотите, это было тоже самоотречение.

Откуда вообще пришло это поветрие, и люди достойные начали чего-то стесняться? Откуда эта неуверенность взялась в последнее время?

Он чувствовал, как привычные понятия обретают в его глазах привычную цену и смысл. И волновался.

Чуть наклонясь, он спросил Кузовлеву:

— Простите, Алла Кирилловна, сколько времени попросил докладчик?

Он решил в перерыве подойти, напомнить о себе в удобной форме. Быть может, следует послать записку и все-таки попытаться выступить в прениях.

Но Кузовлева, почему-то отстранясь от него, смотрела так, будто не понимала языка, на котором он говорит. И тут же высунулся Ленюшкин:

— Час пятнадцать.

Добрые глаза его жалко помаргивали, лицо пристыженное. Все это было странно. Больше чем странно. И уж совсем непонятно, почему так нетерпеливо оглянулся на него Бородин.

(Не мог знать Александр Леонидович, что Бородин и не видит его сейчас, оглядываясь вокруг себя. Возбуждение, в котором Бородин находился во время приема и проводов делегации, прошло. Теперь все выпитое и с аппетитом съеденное за обедом подпирало, дышать было тяжело. Казалось, и доклад длинен непомерно и душно как-то в зале. Он морщил лоб — на воспаленной коже проступала лимонно-желтая полоса над морщинами, — смотрел на часы, оглядывался беспокойно.)

Но словно вызванные его взглядом, явились из-за кулис четверо. Их не было видно из зала. Там, у кирпичной стены, куда со сцены откатили рояль, стояли они — пожилая дама в форменной одежде, имя-отчество которой Александр Леонидович всегда забывал, женщина помоложе, незнакомый мужчина с решительным лицом и помощник Бородина Чмаринов. Что-то случилось: пожилая дама оправдывалась, Чмаринов недовольно выговаривал ей. Александр Леонидович наблюдал с интересом. Встретясь взглядом, он поздоровался с Чмариновым: не явно, слегка наклонил голову. Тот как будто не заметил, хотя они взглядами встретились. Странно. Очень странно. И тревога, непонятная в его положении, коснулась Александра Леонидовича. Все четверо смотрели в его сторону, Чмаринов делал жесты, а другой мужчина стоял нацеленный.

Совершенно естественно, Александр Леонидович посмотрел дальше, туда переадресовывая их взгляды. Но и там тоже сидели люди уважаемые; он, оказавшийся

с краю, душой потянулся к ним. (Внешне это выразилось лишь в том, что он сел еще прямее, еще достойней и перестал смотреть в ту сторону, где происходила закулисная возня: к нему это не могло иметь никакого отношения.)

Но тут Кузовлева не почему-либо, а просто считая себя обязанной, сказала громким шепотом:

— Вы знаете, что вы не избраны в президиум?

И тем отделила себя от него.

Александр Леонидович остался сидеть как сидел. Только лицо его ото лба начало бледнеть, бледнеть, словно опускался в нем уровень крови!

На ярком свете, на виду всего зала, выставленный на позор, он сидел белый, ничего не видя, не слыша. Перед глазами стоял сплошной световой туман. И страшная мысль, что вот сейчас он упадет и все увидят, держала его прямо.

Даже не высматривая специально, Смолеев заметил, где Медведев сел: слева у прохода. Он исключил из поля своего зрения левую часть зала, и это мешало ему. И во время разговора с Николаевым — разговор этот заинтересовал его — что-то все время мешало.

Смолеев был незлой человек, но неблагодарных людей он не любил. И, честно сказать, не понимал их. Не всегда встречается в жизни, чтобы кто-либо добровольно заслбил тебя от неприятностей. Он это сделал. Только глупый человек способен не понимать, что значит между прочим сказанное слово. Такое слово иной раз решает судьбу. Неужели ошибся? Самолюбие его было задето.

Что-что, но в людях он разбирался. С годами он вообще привык считать, что это самое главное — разбираться в людях. Никто не способен знать все. Никому это не под силу, да и не нужно. Но если ты знаешь

людей, если тебе видны пружины, движущие ими, ты можешь сделать все. Он наперед многое прощал человеку, если тот заинтересовал его. Но если уж терял интерес, так окончательно.

Поддавив слегка большим и указательным пальцами глазные яблоки, Смолеев стал слушать очередного оратора.

В последнее время от яркого света у Смолеева начали уставать глаза. Скорее всего от привычки, задумавшись, смотреть широко раскрытыми глазами. Иногда прямо на свет. (Жена говорила, что в такие моменты у него на редкость глупое выражение. Однажды поставила перед ним зеркало. Действительно, не самое умное выражение.)

Повернув голову, он заинтересованно смотрел в сторону трибуны. Что-то поблескивающее внизу привлекло его внимание. Он глянул. Слева сидел грузный человек, выставив ноги в проход между рядами. Как живые, они были обуты в ботинки, а между носками и подтянувшими брюками поблескивали никелированные пластины протезов. И палка стояла рядом. В тот же момент возвратной памятью Смолеев вспомнил и увидел этого человека внизу у лифта на расставленных ногах и Медведева с ним рядом. Вот почему Медведев так смотрел на них. Вон что оказывается...

Веселыми глазами Смолеев смотрел на людей. Ну, ничего, ничего. Не такие уж мы хилые да унылые, чтоб расстроиться на весь день. А собственно, и расстраиваться не из-за чего. Порядок должен быть. А если ради дела кому-то наступили на самолюбие, не беда. Умный поймет, дураку не докажешь. Так нам же не с дураками строить.

Смолеев давно руководил людьми — и в цехе, когда был начальником цеха, и на заводе главным технологом, и теперь, — и он знал: для того чтобы люди были способны сделать дело, совершить подвиг, у них и мыс-

ли не должно быть о том, что они могут этого не делать. И мысли такой подавать нельзя. Только очень немногие, все понимая, способны по своему убеждению действовать самоотверженно и самоотреченно. Большинству нужна вера. И убежденность. Эту убежденность людям надо дать — и они пойдут за тобой. Ошибки простятся. Обиды простятся. Бездействия не простят люди. Вот чего люди не прощают никогда. А хуже того — скуки, если жизнь начинает мельчать.

Как только объявили перерыв, Александр Леонидович незаметно и стараясь никого не замечать спустился в гардероб. Кто-то увязался за ним со своим делом, но он не слышал, не понимал. Он хотел скорей скрыться с глаз.

Теперь все ранило стыдом. Ему еще, главное, показалось, что его приглашают к столу президиума пересесть, и он из заднего ряда делал отстраняющие жесты, и все это видели. Он зажмурился и застонал. Ведь он хотел вместе с опоздавшими войти в боковую дверь. Почему он не пошел туда? Как мог он так ошибиться? И все словно нарочно направляли его, сами открывали перед ним двери. Так выставить себя на позор!..

Посторонние люди, идущие по тротуару, оборачивались, слыша, как застонал от боли приличный, модно одетый человек, поднеся к глазам руку в замшевой перчатке.

Но Кузовлева! Как она сразу отстранилась. Теперь все отстранятся. Завтра весь город узнает, весь город будет говорить. А Ленишкин всегда был хороший человек. Какими глазами он смотрел! Ах, боже мой, боже мой!..

Шофер такси, везший на аэродром пассажиров (они опаздывали и всю дорогу в спину ему долбили: «Шеф, давай по газам! Шефчик, милый, давай, давай...»), из-

дали увидел и рассчитал, что успеет проскочить переход в тот самый момент, когда транспорту будет дан зеленый свет. В среднем ряду, не сбавляя скорости, он шел на красный, чувствуя, что уже время переключать светофор. Но и пешеходы чувствовали, что сейчас будет переключен свет, и спешили перейти: заведенные часы городского ритма отстукивали в каждом эти последние секунды.

Все было бы так, как рассчитал шофер. Переход пустел. Но тут какая-то женщина с кошелкой, пожилая, на толстых ногах, побежала через дорогу. Шофер на всякий случай взял правей. Но и она еще наддала, так что ноги от нее отставали; с глупой, испуганной улыбкой бежала изо всех сил.

Незримо они уже были связаны друг с другом. В тот самый момент, когда шофер затормозил и пассажиров бросило на спинку переднего сиденья, она испугалась и стала. Вот теперь бы ей бежать, но она стала. Потом кинулась назад.

Пешеходы заматались, рассеиваясь перед радиатором, и только эта кидалась со своей кошелкой из стороны в сторону, всякий раз туда же, куда и машина. В последний момент она с криком вырвалась, как курица из-под колес, и открылся за ней мужчина в коротком пальто джерси: прямо, гордо, никого не видя, переходил он через дорогу, нес свою шляпу выше всех. А машину на тормозах неотвратно влекло на него.

Не опасность раньше всего увидел Александр Леонидович; он наткнулся на взгляд ребенка. С той стороны улицы, в немом крике раскрывая рот, мальчик с ужасом смотрел на него. И словно через глухоту прорвалось — услышал он крик, визг тормозов. Вздвогнув, Александр Леонидович отпрянул, но его сшибло, в голове сотряслось.

Еще не осознав ничего, но лежа на асфальте, Александр Леонидович увидел свою белую в задравшейся

штанине худую ногу и капающий радиатор над ней. Он выдернул ногу. И даже в этот момент главным был не страх смерти: страх позора. Он, Александр Леонидович Немировский, на мостовой, под ногами людей...

Кто-то поддерживал его, когда он энергично подымался, кто-то подавал шляпу в двух руках, кто-то отряхивал пальто. Люди вокруг него кричали, размахивали руками:

— Гоняют как бешеные, по улице невозможно ходить!

— Приличный человек, пальто хорошее...

— А эта где? Эта, с кошелкой?..

— Ее теперь с собаками не сыщешь.

— Милиция!

— Граждане, дорогие, на аэродром опаздываем.

— Значит, дави людей? Нет, обождешь.

— Вот билеты у нас. Вот они. Вы запишите его, а мы при чем? Самолет улетит.

— Улетит... Не улетит!

— А этот шляпу надел, думает — все можно.

— Мили-иция!..

Александра Леонидовича поддерживали, отряхивали и колени и локотки. Шофер шапкой своей оттирал какое-то пятнышко; все бы сейчас отдал, только бы всего его восстановить в целости. Но просить ни о чем не смел, снизу вверх глазами побитой собаки заглядывал в лицо.

Еще недавно Александр Леонидович знал бы, как поступить. Все то, что находилось вне его, но составляло его силу, немедленно пришло бы в действие, сами стали бы нажиматься все кнопки и, раздвинув людей, явился бы, предстал милиционер, живое олицетворение защиты прав и порядка. Но сейчас, никем и ничем не защищенный, Александр Леонидович чувствовал себя совершенно беспомощным на улице, где свои какие-то действовали неписанные законы.

Все, что случилось с ним, теперь связалось в его болезненном сознании. Он ощутил неизмеримое расстояние между тем, как он сидел на возвышении, на виду и на свету, и тем, как теперь, вываленный в пыли, стоял в толпе и кто-то, понимавший, что его можно оскорблять безнаказанно, теперь все можно, кричал со злой радостью: «Шляпу надел!..» Он в центре уличной сцены, посреди кричащей толпы... Это было концом падения, этим завершалось все.

Шофер предлагал отвезти домой, кто-то советовал: — В больницу езжай, пускай засвидетельствуют...

Не слушая, не отвечая, Александр Леонидович выbralся из толпы, пока не пришел милиционер, пока его не узнали.

Никто не видел, как и где оттирал он пятнышки, оглядывая себя со всех сторон. Он и домой не мог явиться в таком виде, пережить еще и это унижение. Потом, потом, но только не сейчас. Потом, когда можно будет все обратить в шутку. Если можно будет.

В передней, не зажигая света, он тихо повесил пальто. Не на вешалку, где Лидия Васильевна могла увидеть, а в шкаф: надо будет потом еще раз оглядеть все, почистить.

— Это ты? Я даже не слышала, как ты вошел.

Раздалось шипение горячей сковороды, запахло жареным. Вытирая на ходу мокрые руки, Лидия Васильевна шла из кухни. У нее сегодня был вечерний прием в поликлинике; одетая на работу, но в переднике, она заканчивала домашние дела.

— Тут Полина Николаевна звонила.

— Что?

Александр Леонидович успел задернуть плотную штору на окне.

— Советовалась. У Олечки ведь скоро именины. Она говорит, в универмаг должны привезти... Что с тобой? На тебе лица нет!

— Съел что-то.

Зазвонил телефон. Александр Леонидович испуганно замахал на него рукой:

— Меня нет. Нет! Убери.

Но Лидия Васильевна не стала брать трубку, она выдернула шнур из розетки.

— Что ты съел? Где?

— В буфете.

— Но что? Что ты ел там?

— Крюшон... Мне показалось, когда я попробовал...

Ах, оставь меня, пожалуйста.

Она так приучила его, что каждая мелочь, малейший ушиб становился предметом внимания. А сейчас о самой главной боли он не мог сказать ей.

— Я бы лег, знаешь.

Больше всего ему хотелось сейчас остаться одному. И лечь. Вот что ему нужно было сейчас: лечь в постель. Он был рад, что ни Ляльки, ни Олечки нет дома — они ушли в кино,— как мог уговорил жену, что все это так, пройдет, просто решил на всякий случай перестраховаться. Обещал звонить, если что, согласился с тем, что она позвонит, и, уже опаздывая, Лидия Васильевна убежала на работу. А он остался один со своим позором.

Та жизнь, выше которой он был всегда, над которой проезжал и проходил не соприкасаясь, в эту жизнь оказался он сброшенным. Что делать? Как быть? Ему было страшно.

Болела голова от сотрясения. Болело ушибленное колено. Но сильней всего, нестерпимо болела душа. В свежих крахмальных простынях, на мягкой подушке, он лежал загнанный, униженный и слабый. Его знобило. И во всем мире не было сейчас человека, которому он мог бы пожаловаться: рассказать.

Дважды звонила Лидия Васильевна; перед уходом она поставила телефон рядом с ним на тумбочку, только руку протянуть.

Укрывшись с ухом, дыша с дрожью себе на руки, Александр Леонидович согрелся и, как дитя малое за-сыпает в слезах, заснул, обессиленный.

То, что для Александра Леонидовича казалось концом жизни, падением, которое и пережить невозможно, почти никем не было замечено. Объявили перерыв, и люди устремились в буфет, где обычно образовывались большие очереди. Здесь можно было зимой купить даже свежие помидоры и парниковые огурцы. Радуюсь удаче и вместе с тем испытывая известную неловкость, люди спешили раньше других занять очередь, чтобы дома побаловать детей. И после уже с кульками досиживали совецание.

Но была еще и другая причина, почему никто почти не заметил происшедшего с Немировским. На больших собраниях, где обсуждаются общественные вопросы, есть у людей еще и те дела, которые удобно решать в разговоре. Здесь просто можно встретить нужного человека, к кому в другое время не так-то легко попасть на прием; можно пройтись с ним рядом, переговорить. И многие соображения преодолевают людей, много надо успеть, а перерыв мал.

Еще в самом начале, когда только утверждали регламент, произошла некоторая неувязка с общим подсчетом часов. Бородин, который председательствовал, объявил:

— Сейчас четырнадцать ровно. Есть предложение работать до шестнадцати часов. Потом сделаем получасовой перерыв. Снова поработаем два часа, еще прервемся на пятнадцать минут и еще час поработаем. И закончим все в девятнадцать часов. Возражений нет?

Возражений не было. Проголосовали. И уже после этого поднялся в конце зала человек с вытянутой рукой (он, правда, говорил, что с самого начала подымал руку, но его не заметили) и стал объяснять, что не получа-

ется закончить в девятнадцать часов. Два плюс два, плюс один, плюс три четверти часа — не получается девятнадцать. И все это — через зал, громко.

Бородин помолчал и, не напрягая голоса (не будет же он перекликаться через зал), не вдаваясь в подробности, сказал в микрофон:

— Товарищи поработали, подсчитали вот тут.— Он приподнял со стола бумажку и положил ее.— Что ж мы будем так не доверять? Я думаю, все же правильной будет доверить товарищам.

Так и решили.

— А по окончании,— тут Бородин сделал паузу, выждал соответственно,— по окончании нам обещали показать фильм. Какой фильм, этого я пока еще сообщить не могу.

По залу сразу прошел шепоток, и вскоре все знали, что фильм покажут французский, получивший премию на каком-то фестивале. И во втором перерыве народу не только не убавилось, но некоторые успели позвонить женам, и в фойе усилилась толчея.

Андрей и раньше наблюдал не раз то взаимное взвешивание, которое постоянно происходит там, где собираются вместе разные по положению люди. Есть сотни признаков, по которым люди безошибочно определяют свое сиюминутное положение. И взвешивают, взвешивают себя в своем уме и в чужих глазах. Оно всегда казалось ему не слишком достойным, это занятие, но если все в жизни решалось по трезвому размышлению да логикой! Когда у входа в зал Чмаринов, радостно пожимавший руки одним и не замечавший других, глянул на него как на пустое место, Андрей почувствовал ненависть к этому человеку. А ведь понимал умом, что Чмаринов не определяет погоды, он только отражает ее.

В перерыве, жалея, что нет Борьки Маслова, Андрей стоял у окна, задумался и не заметил, как прошла мимо дама в шуршащем платье и очень внимательно

посмотрела на него. Только уже вслед — она шла в компании еще с двумя дамами и Зиной,—машинально вслед глянув, узнал.

Когда-то ее звали Аля. Аленькая— звал он и был в нее влюблен. Сколько же это лет прошло с тех пор? Да ведь лет шестнадцать. Тогда она была беленькой девочкой, наивной, с наивным голоском. И в комнате у них все было белое: и кружевные накидки, и кружевные салфетки (Аля вместе с матерью вязала их из катушечных ниток), и свежестырированный парусиновый чехол на диване блестел от'утюга. А подушки диванные вышиты болгарским крестом, и даже картины на стенах под стеклом вышиты крестом: белолицые дамы в длинных, со складками и шлейфом малиновых платьях.

Все это белое, чистое удостоверяло с несомненностью, что тут невеста, сохранившая невинность и чистоту. Он был влюблен, и все здесь ему нравилось. И нравились ее родители, совсем простые. «Мы по-простому,— говорил ее отец, наливая по стопочке,— по-рабочему». Он работал на мясокомбинате, и в доме у них все было. Хоть и экономно, но по-семейному хорошо и так всегда вкусно.

Взволнованного близостью нравившейся ему девушки, по-студенчески голодного (а годы были голодные), нагулявшегося с Алей по морозу, его непременно усаживали за стол, ни за что без этого не отпускали, и отец из четвертинки наливал им по стопочке. А горячая картошка была такая рассыпчатая, и чайная колбаса, заранее нарезанная, так пахла чесноком! И все вокруг само говорило ему здесь, в тепле: вот и у тебя так может быть по-семейному, по-доброму. И путь указывался. Аля. Алевтина Семеновна.

Дойдя до конца фойе, они поворачивали в общем кружении. Года три назад он что-то слышал про нее: муж ее занимает какое-то положение. Ну что ж, он за нее рад.

Запыхавшийся Борька Маслов налетел на него:

— Ты не догадался меня зарегистрировать?

— А предупредить не мог? Ты что так опоздал?— спросил Андрей, обрадовавшийся ему.

— Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Что-нибудь было?

— Да так, в общем... Слухали: земля вертится...

— Вот я и понадеялся, без меня справитесь. А мой госконтроль звонил уж специально: «Боря, ты манкируешь. Нельзя манкировать». Меня теперь дрессируют этим словечком — «манкировать».

Андрей говорил с ним, но Алевтину, медленно приближавшуюся, не упускал из виду. А что, мог бы тогда и жениться, если б Аню не встретил. Близко уж к тому было. Не страшно, что женился бы, а вот дети... Крупная, широколицая, ширококостная — ох, как же она раздалась за эти годы! Где-то читал он, что в камне, пока он не обработан, и дефектов не видно. Но стоит отшлифовать — и все трещины, даже мельчайшие, скрытые, становятся видны.

Уже слышно было Зинино щебетание — точно как у Алевтины в ту пору, наивный голосок:

— ...и вообще это необязательно в двадцатом веке — учить девушку играть на рояле. Теперь везде продаются проигрыватели, есть со стереоскопическим звуком.

— Стереофоническим, — авторитетно поправила Алевтина.

Только на какое-то мгновение Зина смешалась, но не позволила сбить себя. Мягким голосом, а в то же время давая понять, что теперь это им лучше известно, сказала с улыбкой:

— Нет, у этого звук стереоскопический...

Проходя мимо, шурша своим голубым платьем, на котором всего было много, и материи и блесток, Алевтина сверху вниз глянула на него. «Вот что ты мог

иметь,— говорил ее надменный прищуренный взгляд.— Да, вот что ты потерял...» Он поклонился ей молча.

— Кто это? — спросил Борька.

— Знакомая,— сказал Андрей.

— Н-да, брат. Таким женщинам нравишься! Надо Ане рассказать.

Борька был возбужден.

— Работал? — спросил Андрей ревниво.

— Да так, немного... Бросать не хотелось. Но как стал названивать мой госконтроль... Накрыл мокрыми тряпками — и сюда: надо.

У Андрея даже в душе засосало, когда услышал «бросать не хотелось». Вот чему он завидовал, если уж завидовал чему-либо. По себе знал, как это радостно бывает в такие минуты жить на свете. Но, кажется, в обозримом будущем ему это не угрожало. А уж если есть смысл жизни, так вот он. И если есть счастье, так вот оно. А все остальное — суета сует.

— Скоро покажешь?

— Да черт его знает. Сам не пойму. Пока работаешь, ты — бог. Никто не может, можешь один ты. А отошел на время, глянул заново — молотком бы разбил. Может, вообще ерунда и обман зрения,— сказал он поспешно, заметив, как расстроился Андрей.— Покурим, что ли? Только у меня опять тот же сорт — твои.

Вот и без папирос Борька и, как всегда, без денег. А бывал и без дома. Но счастлив. И ничто с этим не сравнить, все отдашь.

Они уже направились курить, когда на них налетел Чмаринов. Не наткнулся случайно, а явно искал.

— Здравствуйте, Андрей Михайлович! — говорил он. И двумя руками руку жал, ласково заглядывал в глаза.

Сам от себя не ожидавший, Андрей вдруг пальцем поманил его, серьезно отвел в сторону (Чмаринов весь наострился слушать) и тихо, по секрету, доверительно спросил:

— Есть указание? Приказано любить?

Только самое мгновение какое-то первое слушал Чмаринов. В следующий момент заулыбался по-родственному:

— Эх, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, все шутки шутите.

— Ну, вы же знаете, я шутник.

— Вот вы смеетесь, а я вам скажу: вас будущее ждет.

— Это как же вы узнали?

— А вот не цените вы нас. А я душевно рад, что могу вас порадовать.

— И в этом будущем вы мне первый друг?

— Всенепременно! — И смотрел на него Чмаринов многоопытными глазами. Хоть и улыбался, мудрость жизни излагал. — Я и буду вам самый первый друг. Вот вспомните тогда Чмаринова.

Что-то произошло. Борька так и определил:

— Андрияха, что-то на тебя грядет.

А вскоре все само разъяснилось (уж как сумел Чмаринов раньше всех узнать, это ему одному ведомо). Через фойе к двери за сцену — оба видные, крупные — шли Смолеев и Николаев. Был у Андрея маленький осадочек от сегодняшней встречи там, у лифта, внизу. И, ожидая встретить холодность, он сам первый поздоровался сдержанно и холодно. Но Смолеев, наткнувшись на него взглядом, остановился. И громко Николаеву, так, что оборачиваться стали:

— Вот про него я тебе говорил. Давайте я уж вас и познакомлю сразу.

И пока знакомились, Смолеев говорил:

— Ты дом отдыха собирался строить? Вот поговори с ним. Это он все мечтает виллу построить. Есть у него такая несовременная мечта. Поговори, поговори.

Николаев смотрел по-хозяйски: определял, на что годен человек. Хмуро сказал свой телефон, когда звонить.

А вокруг, словно что-то особенно радостное происходило, стояли и улыбались люди.

Ночью Лидия Васильевна проснулась, услыша, как ворочается рядом Александр Леонидович.

— Ты что?

Включила ночник.

— Так что-то... Не знаю... Не по себе.

Он был беспокоен.

— Сесть повыше.

— Обожди.

Уже в халате, только запахнувшись на груди, Лидия Васильевна нагнулась над ним. Глаза его смотрели испуганно, а в глубине такая смертная была тоска, что она похолодела. Но больше всего боясь его испугать, она заговорила спокойно:

— Возьми меня за шею... Руки положи... Нет, ты не напрягайся, ты ничего не делай. Я сама!

Руки его не держались, сползали, и весь он тяжелей, тяжелей повисал. И вдруг потянул ее вниз, грузно вдавился в подушки...

Всю свою жизнь она вспоминала потом, что в этот последний час он к ней потянулся, к ней руки протягивал, от нее помощи ждал. А она отпустила его одного.

## ГЛАВА XVIII

Даже горе, даже самое страшное горе прибавляет нам опыта, если мы остаемся жить. Полина Николаевна пережила смерть мужа, смерть Николая Ивановича — память его священна! — теперь она должна была помочь Лидии Васильевне пережить. И, укрепясь этим сознанием, она взяла на себя все заботы, все хлопоты.

Телефоны города, лиц, от которых зависело, были у нее на проводе. Самые разные люди, побуждаемые ею, звонили другим людям, выясняли, зондировали почву,

ставили в известность, в удобной форме высказывали свое мнение.

Маленькое преддверие кабинета Александра Леонидовича, зажатое двумя стенами и вытянутое к окну, где под открытой форточкой в табачном дыму помещалась Полина Николаевна со своей пишущей машинкой, телефоном и неизменным букетиком цветов в вазочке, превратилось сейчас в штаб. Сюда входили, отсюда выходили, и всем она отвечала:

— Будет дана команда.

Дело шло о чести, о добром имени Александра Леонидовича, о том уровне, которого он заслужил. И вновь многие люди, побуждаемые ею, звонили другим людям, а Полина Николаевна держала руку на пульсе событий; это от него к ней перешло выражение, от Александра Леонидовича: «Держать руку на пульсе событий».

Напряжение и ожидание ощущалось во всех звеньях цепи. Одна лишь Лидия Васильевна не понимала важности совершающегося; в ее положении это, впрочем, так объяснимо. По всем вопросам Полина Николаевна сносилась с Людочкой, с ней была сейчас особенно близка.

Сама она поминутно чувствовала сердцебиение и перебои, пила сердечные капли, и запах валерьянки мешался с запахом табачного дыма и крепких духов.

Букетик фиалок, стоявший рядом с пишущей машинкой, подарил ей Александр Леонидович. Он вошел тогда такой весенний, такой разморенный солнцем и со своей иронической улыбкой молча положил ей на машинку цветы. И прошел в кабинет.

Белыми пальцами с вишневым маникюром Полина Николаевна трогала сжавшиеся, засохшие фиалки, и на ее крупные глаза наворачивались крупные слезы. Никто уже теперь никогда не принесет ей цветов, эти — последние.

При жизни Александр Леонидович иногда шутил: «Я

не возражаю, если меня похоронят по третьему разряду, а разницу в деньгах отдадут мне сейчас...» Ах, как она не любила такие шутки, как она сердилась.

В середине дня раздался звонок. Едва Полина Николаевна положила трубку, все пришло в движение. Отдавая приказания, разрешая сомнения, она всякий раз с особым значением указывала на телефон; своим молчанием он освящал ее действия и слова.

Потом она взяла машину и помчалась к Лидии Васильевне. Она чувствовала прилив сил, была возбуждена. Если бы не такой трагический час, можно было бы даже сказать, что она чувствовала в себе радостную жажду деятельности. Она выполнила свой долг перед Александром Леонидовичем. Да, она свой долг выполнила. Она добилась всего, чего он мог желать.

Проснувшись в этот день рано, Виктор с трудом дождался газеты. Раскрыл. На второй полосе сверху, справа — некролог в две колонки и подписи, подписи. Одним взглядом охватил все разом, пережил мгновенный испуг, не увидя своей фамилии, а потом аж в пот бросило: Смолеев, Бородин, Митрошин, Сильченко, Николаев, а тремя строчками ниже — он, Анохин.

Еще с вечера знал Виктор, с вечера было ему известно, что его фамилия в списке. Но все же Зинушке он не сказал: мало ли что может произойти в последний момент. Так до утра это и оставалось его тайной, его ожиданием.

Вчетверо сложив газету, он вошел из передней в комнату. Зина, уже одетая, начесывала челочку перед зеркалом. Она торопилась до работы в магазин.

С лицом печальным, но и торжественным тоже Виктор положил газету на стол. Некрологом вверх.

— Посмотри.

Она глянула.

— А-а. Да! Но ведь он был старый. Сколько ему было?

Виктор в задумчивости прошелся по комнате:

— Посмотри...

Зина посмотрела в раскрытый кошелечек, посчитала деньги, посоображала про себя, сомкнула «молнию». Тогда уж глянула в газету:

— Ну что тут? Я же знаю...

И тут собственная фамилия прыгнула ей в глаза. Не поверила. Глянула на Виктора. Он прохаживался по комнате какой-то не такой. Еще раз прочла из рук.

— Ты знал?

— Знал...

— Почему же ты не сказал ничего? Мне не сказал!

Он обнял ее за плечи и с нею вместе, наполненный молчанием, начал ходить по комнате. А она взглядывала на него, то ли робея, то ли впервые разглядев то, чего и она в нем раньше не знала.

Он привлек ее, поцеловал за ухом. Зина не поняла. Он поцеловал еще раз. Зина взглянула вопросительно:

— Виктор, цельное молоко бывает только в это время.

— Ну, Зюка. Ну, Зюзенька. Ну один раз можно и без молока.

— Какой ты сегодня, честное слово... Прямо не узнаю. Ну, закрой дверь на цепочку... И кефир разберут... Штору задерни. Главное, оделась уже. Ох уж эти твои...— Она засмеялась мелко: — Помнешь всю.

Через четверть часа Зина, переволнованная многими соображениями, спешила в молочную. По дороге она купила в киоске три газеты: по собственной инициативе решила сделать Виктору подарок. Такие газеты надо хранить.

В молочной ей повезло: кефир еще не разобрали. И молоко было пастеризованное, цельное. А в палатке

был репчатый лук. Невыгодный, правда, кубинский, крупными головками — целиком такую в суп не положишь. Но все же лучше, чем ничего. А то приходилось на базаре покупать.

Нет, явно снабжение в городе улучшилось.

Люди входили к Немировским и выходили, и почти каждый начинал с того, что высказывал свое свежее возмущение таксистом, который до сих пор не распыскан:

— Подумать только, середь бела дня, на улице...

— Вы знаете, я не поверила своим ушам.

— И номера никто не записал. Говорят, из третьего парка.

— Как распустились!..

— Мало сказать — распустились.

— Но милиция? Она куда смотрит?

— Вот и я хотел бы тоже спросить: куда милиция смотрит?

Тут входил следующий, высказывал свое возмущение милицией и шоферами, а для тех, кто давно сидел, это был сигнал: вот момент, когда удобно, прилично уйти. Однако, прежде чем уйти, настоятельно советовали Лидии Васильевне поесть чего-нибудь и выпить хотя бы глоток чая, потому что «она нужна дочерям и внукам, она им еще нужна, и если не для себя, так для них, по крайней мере...». И, уходя, просили не провожать, на этом особенно настаивали, как будто в этом и заключалось для Лидии Васильевны самое мучительное, от чего непременно старались ее оберечь. Провожала до дверей Людмила, и ей с легким оттенком замеченного упущения говорили в передней еще раз:

— Ей обязательно нужно поесть...

Но Людмила смотрела так надменно, так понимающе, что осекались. В этой заботе «не провожать» было

стремление скорей отделиться от их горя, и она не считала нужным скрывать, что видит это, понимает. А главное, давала понять, чтобы не думали, что уже что-то переменялось местами.

Другой неперменной темой разговора, которой так или иначе касались все, был проезд на похороны старшей дочери, Гали, Галины Александровны. Выяснилось, что она вылетела, но муж, генерал, к сожалению, быть не сможет. И это принимали с пониманием:

— Конечно, военный человек...

— Военные люди собой не располагают.

И умолчание тут значило больше, чем слово сказанное.

Один лишь Зотов с уверенными приемами человека, умеющего все поставить на свои места, ходил быстро, говорил, не снижая сочных звуков своего голоса, в то время как все двигались и говорили замедленно, будто среди ночи. Он уезжал, приезжал, скидывал и вновь надевал пальто. Для него не могло быть трудным то, что представляло определенную трудность для других. Он сразу взял нужный тон, весь был объят деятельностью. И минуты времени не было у него на то, чтобы чувствовать какую-то неловкость, тем более что искренность его чувств оставалась вне всякого сомнения. Взгляд его говорил ясно: «Я не могу позволить себе отдалиться переживаниям. Без меня все станет. Я действую».

Даже денежные расчеты, которые особенно не просты в такую минуту, для него не были ни неловки, ни трудны. Отзывая Людмилу к окну или в другую комнату, он говорил убедительно, доступно, точно, поскольку имелось в виду, что ей сейчас трудно понимать. И вновь хлопала дверца машины у подъезда: Зотов отъезжал. А возвратясь, одним взглядом оценив обстановку, смирял, смягчал, облегчал, все между всеми наилучшим образом устраивал.

И во всем происходящем непостижимо спокойной казалась Лидия Васильевна. Ей некому было показывать свое горе, она не следила за тем, какое она производит впечатление. Она слушала слова сочувствия, но не слышала их, она смотрела в лица и не видела. Все то же и одно и то же пыталась она понять и понять не могла: как же случилось, что она оставила его одного в самый страшный для него час? Всю жизнь она знала за него, за него чувствовала, от малейшего дуновения оберегала. Как могла она не почувствовать, не понять? Как она вообще заснула в ту ночь?

Ей говорили, что необходимо поест, она смотрела разумно, понимала как будто, но думала свое. Она заново и заново видела, как он вошел, как он старался быть незаметным. Он, привыкший гордо нести голову, был такой приниженный, ее стыдился. Теперь-то она видела, но почему не поняла тогда? За что вдруг поразило ее такой страшной слепотой? Как она могла уйти?

Все говорили о шофере, о милиции, о безобразиях, которые творятся на улице.

— Неужели этого шофера не будут судить?

— Да я первый пойду!..

И только она, видевшая синяки на его теле— лилово-синие, холодные, не растекающиеся уже,— только она не понимала, о чем они говорят. Случилось страшное, стыдное, он вернулся такой жалкий. И с этим стыдом в душе, униженный, ушел из жизни. И этого уже не изменить.

Никто не видел, как она собралась; хватились ее значительно позже. Она делала все точно, быстро: оделась в коридоре, в темноте на ощупь поправила волосы, сунула свой халат в сумку. Она шла к Александру Леонидовичу.

Не отвечая на вопросы гардеробщика, Лидия Васильевна бросила пальто на барьер, и никто ее не остановил, когда она в своем белом халате врача решитель-

но шла по коридору. Навстречу ей везли на каталке укрытое простыней тело. Это была женщина. Лидия Васильевна ждала, посторонясь, пока разворачивали каталку поперек коридора, ввозили в открывшиеся двери. Заторопившись пройти, она мельком глянула туда. Блестели обитые цинком пустые столы, на одном из них головой к двери, ногами к окну (остро под простыней обозначились пальцами вверх торчащие ступни) лежал старик. Седой хохолок, голый, наморщенный о холодный цинк затылок. И с ужасом она поняла вдруг, что этот чужой старик, лежащий на столе, это — Александр Леонидович.

Санитарка что-то делала над ним. Увидя ее лицо, санитарка стала испуганно оправдываться:

— Вот сами смотрите, чтоб после ничего не говорили... На месте металлический зуб, вот он. А то скажут потом...

И пальцами подымала его верхнюю губу.

— Не смейте! — от боли вскричала Лидия Васильевна.

Мертвая губа так и осталась оттянутой, и сквозь налет золотой зуб Александра Леонидовича тускло блестел. Дрожащими руками она гладила его холодное лицо, отросшую щетину, которая тоже была седая.

В этот момент в раздувающемся халате быстро вошел врач.

— Кто пустил? Зачем? — говорил он на ходу. — Лидия Васильевна, родная, голубушка! Ну вы бы меня позвали... Нельзя, нельзя... Как же так?

Он под руку увел ее в гардероб, одел.

— Вы на чем приехали? Вас отвезут.

Она плохо понимала. Она все время видела голый наморщенный затылок, физически чувствовала холод металла. Никогда при жизни не была у него такая голая голова. И такая седая.

В доме уже творилось бог знает что: Прилетела Галя (на аэродроме ее встречал Зотов), и вместе с Людой они обе не знали, куда кинуться, где искать.

— Мама! Слава богу!.. Ну разве можно так? Мы с ног сбились.

И тут Лидия Васильевна увидела внука Леню, он тоже прилетел с матерью. Худой, вдвое вытянувшийся за один год, лицо — копия отцовского, но только удлиненное испугом. А из растерянно косивших глаз мальчика живой Александр Леонидович глянул на нее. И впервые за эти дни Лидия Васильевна заплакала. Руками она прижала к себе теплую колючую голову внука, мочила ее слезами, вдыхая его родной мальчишеский запах, уже и незнакомый чем-то.

Ночью сестры тихо разговаривали вдвоем. Отплакав в самый первый, самый большой для родных людей момент встречи, пережив этот долгий день, словно навек опустившийся на них, а теперь искупавшись с дороги, Галя сидела рядом с сестрой на диване, в ее мохнатом халате, в ее бархатных туфельках. У ног сестер в мягком ворсе ковра стоял телефон. Все спало в доме, кроме них двоих. Горел торшер как ночник, сверху на него еще и платок был брошен. Розовый сумрак в комнате, темнота в передней, блики света на стеклах серванта, на полированных поверхностях. Тяжелые шторы во всю стену глушат поздние шумы улицы. И так ощутима пустота, как будто вместе с отцом и жизнь ушла из дома.

Вот Галя искупалась, тело вздохнуло, и еще виноватей почувствовала себя: он там один, и вечный холод, ото всех его отделивший. Но даже и сейчас все еще он есть, не с ними, но здесь. А скоро его и вовсе не будет.

— Это ужасное сознание, что ничего не можешь изменить. Ведь вот только что, только... Невозможно привыкнуть.

Люда кусала мокрый платочек.

— Тебя он особенно любил,— сказала Галя, чтоб приласкать сестру,— я даже ревновала в детстве.

Звякнул телефон. Галя схватила трубку. С вечера ей не удалось соединиться с домом, а там у младшего мальчика и у дочери свинка, обоих она оставила с высокой температурой. Но в трубке опять был устойчивый длинный гудок.

— Ты когда позвонила тогда... Помнишь, в день рождения,— Люда кивнула на телефон,— у него как раз в тот момент что-то было с сердцем. Но мы не поняли. Все задним числом, все задним числом. Он был такой спортивный, здоровый человек...

— Со здоровыми так и бывает. Вот Кирьяновы... Да нет, ты не можешь знать, разве только от отца слышала. Когда Кирьянов женился, его теща была очень пожилая, больная, умирающая женщина. Все так и говорили: «Ей уже недолго скрипеть». И вот он жизнь прожил и умер, а она все такая же пожилая, очень больная, умирающая женщина. А здоровый человек...

— Мать, врач, не придала значения. Ах, как ужасно, как ужасно! — сказала Люда, потому что в этот момент опять увидела стол, как он стоял, широко раздвинутый во всю комнату от окна к дверям, и живого отца за столом. Теперь во всем этом ей виделась какая-то предопределенность, словно отец уже был незримо отмечен.— Ты говоришь, любил... Я отравлена ими на всю жизнь. Ты не знаешь, ты рано ушла из дому...

Так всегда говорилось в семье и считалось, что Галя рано ушла из дому, хотя она вышла замуж двадцати четырех лет, а Люда в неполных девятнадцать выскочила. Но между сестрами было тринадцать лет разницы, и когда Галя выходила замуж, родители были еще молоды. Потому и осталось так в памяти, что она рано ушла из дому.

— Ты это не можешь чувствовать, как я. При тепе-

решней расчетливости, когда в гости зовут, а за этим дальние виды. Противно! Мерзко! Весь этот современный меркантилизм. Забыта простая радость гостеприимства, принять людей у себя в доме. Только у нас всегда широко раздвигался стол, все на широкую ногу. Отец никогда ни перед кем... Гордость, достоинство! Кто бы ты ни был, для него не имело значения. Он всегда это говорил. А таких отцов, таких мужей нет больше. Мне ни один муж никогда не будет хорош. Потому что я их жизнью отравлена. Мать никогда его не понимала. Я ей сказала однажды: «Был единственный муж на свете, так ты у меня его отняла». — «Да, говорит, он самый лучший. Но выходила я за мальчика избалованного и капризного». Ну ты же ее знаешь. Ее *idee fixe*.

Опять звякнул телефон. И опять тишина. Сестры сидели на диване тесно друг к другу, греясь общим теплом. И в этом соединявшем их тепле была часть его, которая в них продолжала жить. Теперь в них только.

Междугородный звонок раздался резко, обе вздрогнули. Галя схватила трубку.

— Да... Да... — говорила она приглушенно. — Вызывала, давайте... Павел? Я в во... Не слышно, девушка! Павел? Я говорю, я в восемь часов заказала разговор. Вот именно... Вот именно... Мама? Мама как раз, ты знаешь... — Взглянув на дверь, за которой была Лидия Васильевна, она взяла телефон и с ним отошла в дальний угол комнаты, волоча за собой длинный шнур по ковру. — Знаешь, мама как раз не так ужасно, как я ждала. Потом скажется. Да... Как Соня? А Ванечка? Но вы смотрите, не опухает?.. Не на шее, я тебе говорила. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он мальчик, это важно не проглядеть.

Была пауза. Галя слушала. Вдруг лицо стало замкнутым, заговорила она железным голосом:

— Не знаю. Пока не знаю.

Это муж спрашивает уже, когда она думает возвра-

щаться. И Галин железный тон означал: мне неудобно сейчас говорить об этом, ты понимать должен.

Людмила курила, смотрела на сестру. Целый день ее преследует запах мокрых хризантем и земли: запах похорон. Даже еда этим пахла, она не могла есть. Сейчас опять запахло. Она курила, чтоб отбить этот запах.

Галя здесь недолгий гость, побудет и уедет. А она, младшая, она останется. Горе у них общее, оно и светло. А жизнь у каждой своя.

Людмила глубоко затянулась сигаретой. О господи, господи!.. Папа, мама, милые, хорошие. И она — девочка с бантами... А потом наступает время, когда уже не папа и не мама, а — ты. Все — ты. И за все — ты. И за себя, и за свою девочку с бантами. И никого не спросишь, только себя одну. И сказать некому: у каждого своя жизнь.

Ну, она не помнит войну. Но и без той войны сколько в мире тряслось и рушилось. Но был дом. И мир был незыблем. Могло что угодно случаться с ней, она всегда знала: горит для нее свет в окне. О, как много значит этот свет в окне! Когда ты можешь прилететь на него отовсюду. Там, для других, ты, может быть, плохая, злая, грешная. Но не здесь. Здесь ждут тебя твои старички. И все поймут и все простят. И ты опять чище чистого. Проснешься утром в своей девичьей кровати вновь — дочкой. Любимой... Ничего не стало. И не будет. Никогда уже этого не испытать.

Она прикурила сигарету от сигареты.

— Люда, Павел хочет тебе сказать.— Старшая сестра отчего-то сейчас робела перед младшей.

Людмила взяла трубку. Слушала. Отвечала. Слова все — слова. Слова и соблюдение приличий. Словами люди ограждают себя от чужого горя, словами не пускают к себе в душу.

С телефоном в руке она вернулась к дивану, сунула его под подушку. Теперь уже никто не позвонит до утра.

Они опять сидели рядом, родные сестры. Но после разговора с мужем, с домом Галя как будто виноватой себя чувствовала. И так само получилось, что она вдруг стала то ли оправдываться, то ли жаловаться:

— И за детей волнуешься постоянно и за него тоже. Что я могу от него требовать? По своему положению... он едва ли не самый молодой генерал в такой должности. Но он совершенно больной человек. Двадцать три года календарных. И это не считая фронта, где год за три. У него все сожжено внутри. Но он же не слушает врачей, все они его подчиненные. Ест, курит, приходится и выпивать другой раз. А когда он садится за руль и Леню сажает рядом с собой...— У Гали появилось то выражение, какое бывало у матери, когда она готовилась терпеть. Такие же остекленелые глаза, на сто лет вперед покорные.— Я не знаю, какие нервы мне нужно иметь, когда они мчатся сто, сто шестьдесят километров в час. А еще горные дороги. Но он считает — мальчика надо с детства воспитать. В этом есть правда.

Галя всегда была недалеко. И тонкость не главное ее достоинство. А жизнь в этой среде... Она даже не понимает, что «мне тоже плохо» особенно оскорбительно.

— И дети еще маленькие. Сейчас лечить, потом учить надо будет. В институт поступать...

Когда-то Галя была одно лицо с матерью. Но с годами, с морщинами все больше мужское что-то, жилистое стало проступать в лице; такое еще у спортсменов встречается. Людмила знала этот тип женщин на вкус военных. Есть жены художников, крикливо-безвкусные, как курицы в крашенных перьях. А есть офицерские жены или служащие военных учреждений, стремящиеся офицерскими женами стать. Замкнутый, свой круг интересов, одни и те же разговоры, словечки, строевые остроты. Особая скарденность. А посмотреть Галины

платья... Каждое как сооружение. Все капитальное, дорогое, опоздавшее лет на двадцать пять.

— Зачем ты так подтягиваешься? — сказала вдруг Людмила.— Дело даже не в том, что это сороковые годы. В таком лифчике просто трудно дышать.

И старшая сестра смутилась перед младшей:

— Знаешь, мы жены военных... У нас все так...

Тут обеим послышался шорох в комнате, где спала мать: слава богу, что заснула наконец. Замолчали. Прислушались. Потом Галя без туфель подошла к двери, бесшумно приотворила.

Горел ночник. На расстеленной кровати лежал костюм отца, снятый вместе с плечиками. Мать стояла перед ним на коленях, молча гладила ладонью рукав. Она собирала отца в ту дальнюю дорогу, откуда никто не возвращался никогда.

## ГЛАВА XIX

Давно уже и снег стаял, пылили асфальтовые городские дороги, а весна все ждала чего-то, будто не решалась, прислушивалась. В потеках копоти и грязи стояли голые деревья, и пасмурно было, и дым в сыром воздухе низко повисал над заводскими трубами.

Но вот в тихий час перед утром, когда самые первые трамваи звенели на улицах, лопнул гром, звучно раскатился над железными крышами; в домах за пыльными стеклами, где рамы заклеены еще с зимы, мало кто слышал его. А потом хлынул дождь, весенний, шумный, смыл копоть и грязь с деревьев, пенные потоки устремились по асфальту. И утром во всем городе запахло молодым тополем. Все было мокрое, свежее, все блестело, тополя светились желтым цыплячьим пухом. Покидав в кучи портфели и куртки, сотни школьников, для которых повеяло близкими каникулами, сгребали мусор. И уже тянуло, как за городом, дымком костров.

Этот дымок, сизый против солнца, и запах костра

проникли даже сюда, на лестницу, по которой вместе с дочерьми спускалась Лидия Васильевна вся в черном. И пока они шли со своего этажа вниз, попадались им заплаканные женщины, большей частью пожилые, одетые просто; Лидия Васильевна всем им благодарно кланялась.

Женщины тоже шли вниз, а там, внизу, были настежь распахнуты двери подъезда и во дворе собралась небольшая толпа. Лидия Васильевна не ждала этого, многих из тех, кто пришел проводить Александра Леонидовича, она и в лицо не знала. Разволновавшись, она молча поклонилась им всем. А когда подняла голову, увидела, что люди не на нее смотрят и стоят вокруг чего-то. Расступились немного, отодвинулись, и ей видно стало: гроб низко на двух табуретках, ветер шевелит жидкие волосы покойника, женщины горестно прижимают платочки ко ртам.

Ничего не понимала Лидия Васильевна. И оскорбительно показалось ей в первый момент. Какие же еще могли быть похороны в этот день? Во всем мире хоронили сегодня одного человека, только его одного.

Но она уже видела по ту сторону гроба плачущую женщину в черном платке; двое мужчин без шапок, с угрюмыми лицами держали ее под руки, как будто выставляли вперед. И другая женщина, совсем старая, сидела на стуле, расставив опухшие ноги, не плакала, тупо глядела перед собой.

И покойника узнала Лидия Васильевна. Это был Николай, домоуправленческий слесарь, который приходил в день рождения Александра Леонидовича, а она испугалась его как дурного предзнаменования. Плоско он лежал в гробу, вровень прикрытый простыней и цветами. И только голова и желтый лоб выставленный возвышались на твердом изголовье. Ввалившиеся виски, лиловые губы, мученический мертвый оскал. На желтом-желтом лице в неплотно прикрытом глазу — блеск жел-

того белка. И хоть ни о чем не способна была сейчас думать Лидия Васильевна, ничего, казалось бы, не воспринимала, сама собою прошла мысль: «Это рак... Желчь разлилась...»

А потом не раз она убеждалась, как ей все запомнилось, чего она как будто и не видела в тот момент: и люди, стоявшие во дворе, и лица, а позади на ярком солнце — костер посреди двора, его особенный весенний запах и стелющийся понизу сизый дымок. На всю ее дальнейшую жизнь запах костра связался для нее с этим днем.

И чужое горе, показавшееся ей оскорбительным в час горя своего, вдруг примирило ее с чем-то большим, перед чем покорным становится человек. И она еще раз поклонилась этим двум женщинам и всем столпившимся во дворе людям.

В девятом часу утра, когда Смолеевы, как обычно, завтракали, Женя спросила утвердительно:

— Ты будешь на похоронах?

В шерстяной безрукавке — красные, серые поперечные полосы, — в синей английской юбке, принявшая душ, причесанная, одетая на работу и уже мыслями наполовину там, в своем Гидропроекте; Женя серебряной ложечкой ела творог, политый вишневым вареньем. В этом она не могла себе отказать: чуть полить творог вишневым вареньем. Иначе очень скучно становилось жить на свете.

— Я думаю, тебе надо быть. Я тоже подъеду.

Вишенку, случайно попавшую вместе с соком, она отложила на край блюда, приберегла, чтоб заесть.

Его всегда поражал контраст между утренним ее разумным спокойствием, холодностью и той страстностью, которую он в ней знал. Именно тут больше всего была уязвлена его гордость. Потому что такой же, как с ним, она была до него. Он не мог опускаться до сравнений,

но, проходя на кухню за кофейником, строго, как на другого кого-то, глянул в зеркало. Увидел себя — крупного, большого, и это было ему приятно.

Вернувшись, стал наливать кофе в чашки — ей и себе. И тут тоже было удовольствие, которого он не знал раньше. Раньше жена наливала ему, пододвигала ему, а он, ткнув нос в газету, не видел ни ее, ни того, что она пододвигает.

— Полней, — сказала Женя, всегда следившая, чтоб он наливал ей по самый край. И это тоже почему-то ему нравилось.

Кроме них двоих, в доме жила и вела хозяйство дальняя Женина родственница Елена Андреевна, тетушка. Родом из Астрахани, из купеческой фамилии, о чем раньше умалчивалось, а теперь Елена Андреевна всякий раз поминала, дескать, вот какого мы роду-племени, вот откуда приходим, она баловала Смолеева расстегаями с рыбой, своими, особенными, какие «в вашей-то столовке и не поешь», грибочками соленькими и маринованными, помидорами мочеными: «Красавцы один в один, ровно с куста». Ревностная домоправительница, она считала неколебимо, что все нынешние болезни «от химии от етой», и верила в гомеопатию. Вся ее комната — и комод, и подзеркальник, и подоконник — все было заставлено флакончиками, коробочками с крупинками, которые она принимала по часам, вечно опаздывала и расстраивалась, что вот никак не удастся наладить лечение, подумать о себе. Женя посоветовала ей заводить будильник, с тех пор в доме то и дело раздавались звонки, Елена Андреевна вздрагивала, кидалась к телефону или открывать дверь.

Была она непрменной зрительницей всех телевизионных программ, на свой лад перетолковывала увиденное и многим возмущалась не без тайной мысли побудить Смолеева к действию: «Не знаю, не знаю, может, уж глупа, стара стала, — тут она начинала сердито тря-

сти щеками,— но зачем это все мблodeжи показывать? Чему оно хорошему может нынешнюю мблodeжь научить? Не знаю... Вам, конечно, видней, а только я бы, на свой глупый разум, я бы этот филем запретила совсем. Вот как будет по-нашему, по-простому...» И еще непримиримей трясла щеками.

Была Жeня бесконечно терпелива к тетушке и только в одном оставалась непреклонной: не позволяла закармливать Игоря Федоровича жирным и печь ему блины, что тетушка пыталась иной раз делать тайно. «Пожалуйста,— говорила она,— если тебе хочется стать таким, как Бородин. На одно лицо его посмотреть... Пищу переваривает. Я думаю все же, ты на что-то другое способен». Она завела порядок: раз в неделю они шли в бассейн. Жeня выходила там в ярком купальнике, в японской резиновой шапочке, от которой голова делалась маленькой. Плавала Жeня прекрасно.

Смолеев смолоду не был избалован женщинами. Он всегда много работал, всегда голова была занята. Учился, работал, ради дела не жалел ни себя, ни людей и не любил тех, кто себя жалеет.

Варю, первую свою жену, он встретил на заводе. Он был мастером, она автокарщицей. Раза три сходили вместе в кино. Один раз были в театре, смотрели «Анну Каренину»: профком закупил весь спектакль, провели такое мероприятие. Когда возвращались, Варя говорила: «Это она потому под поезд бросилась, что делать ничего не делала и обеспечена кругом. Все слуги, да горничные, да кормилицы... А ломилась бы, как мы, да в очередях, так небось бы дурь вся из головы повысочила». Женщины соглашались с ней.

Свадьба была через месяц. Варе многие завидовали, она сама бесхитростно рассказывала ему об этом. Жили они спокойно, хорошо. Он работал еще больше, стал начальником цеха, потом главным технологом завода. Варя раза два принималась учиться, записалась в вечер-

ний техникум, но родились сыновья-погодки — и даже работу пришлось бросить.

Когда при Смолееве рассказывали о любви, из-за которой люди вешались, стрелялись, бросали все на свете, он не то чтобы не верил, но относился к таким рассказам спокойно: прошлый век, дворянское занятие. Потом он встретил Женю. Молодой инженер Евгения Аркадьевна Константиновская.

Не помогли и заявления, которые Варя рассылала во все инстанции. Его вызывали, с ним беседовали, увещевали. Кончилось тем, что Женя оставила мужа, он оставил семью, и они переехали в другой город. Потом переехали еще раз. Его собственная мать не простила ему, до самой смерти ни разу не была у них. А он любил мать и с детства почитал ее.

Но даже теперь, шесть лет спустя, если б он встретил сейчас Женю, он бы так же круто изменил свою жизнь.

— Бородин, как я понимаю, не будет на похоронах,— сказала Женя, прихлебывая кофе из чашечки и щурясь: кофе был горячий.

Поставила чашку, доедая творог, взглянула на него. Несколько раз сегодня она вот так взглядывала: внимательно и странно как-то. Но он понял это по-своему. Вот ведь умна, по-мужски умна, а все-таки женщина есть женщина. Не хватало только дать пищу для пересудов: Смолеев приехал, Бородин не приехал...

— А не зря невзлюбила тебя Дарья наша Фомишна.

Женя сказала безразлично:

— Положим, невзлюбила она меня все-ем по другой причине. Но тут я могу ей только сочувствовать.

Он знал: местные дамы считали Женю горячкой. Многие не прощали ей. И молодость и ум. Но особенно не прощалось то, что от детей, от живой жены мужа увела. Отца и мужа отбила. В самом таком примере виделась грозная опасность. И строже всех были те, кто

сам в свое время вот так построил семью. Они-то в первую очередь были против любых возможных перемен.

Неприятнь началась еще в ту пору, когда они отказались от квартиры бывшего секретаря горкома. Смолев привез Женю смотреть. Гордый водил он ее по комнатам: все это — тебе. Но она смотрела без интереса и сказала холодно: «По-моему, нам и половины через край». Он оторопел немного. Потом обрадовался. Но местные дамы дали свое объяснение. Хоть и никог постороннего не было при разговоре, дамам все стало известно. «Детей нет, вот и отказалась,— решила Дарья Фоминишна Бородина.— Понимает: в большой-то квартире да без детского голосу все ему детей не хватать будет. Крутит им как хочет, а ему и невдомек».

И таково свойство у слова сказанного, что дошло оно. Будто сбоку присматривался он к Жене некоторое время. Потом сердце сказало свое, и еще жальче ее стало. Нет, он благодарен судьбе, что встретил умного друга. Умного, надежного, с которым все радостно.

И опять он увидел, как она внимательно смотрит на него.

— Ты что? — спросил он.

Она прихлебывала кофе и щурилась. Три дня назад врач подтвердил определенно: она ждет ребенка. Но вот отчего-то сказать об этом она не могла до сих пор. Все тут не просто. Не просто потому, что у него есть дети, а теперь, она понимала, многое изменится. И потому, что ей не двадцать, а тридцать один год. И многое, многое не просто. Но вот опять она не чувствовала в себе этой возможности, не могла сейчас сказать ему.

Как всегда утром, они вместе вышли из дому. Дежурил сегодня не Василий Егорович, степенный горкомовский шофер старого поколения, старой выучки, а Женин тезка. Этот всего лишь год как вернулся из армии и сейчас не знал хорошенько, то ли на стройку податься какую-нибудь на сибирскую, то ли в институт поступить,

благо сдать ему надо всего-то на троечки: «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?..» А пока что, пока вся жизнь впереди, завел он себе кожаную куртку с карманами и «молниями» и возил начальство.

Когда случалось ему днем приехать с поручением или со свертком, Елена Андреевна бывала рада побаловать его. Особенно же тому рада, что, наскучив сидеть вдвоем с телевизором, имела случай побеседовать с живым человеком. Про то в основном, что нынешняя молодежь вся никудышная. А потому найти ему надо не вертихвостку какую-нибудь, выворотню, а дочь собственных родителей, да приглядеться к ней, приглядеться лучше, чтоб не получилось, как у большинства: пожизненно — увидим. Сначала видеть, жить-то приниматься потом... «Ну что, проведена была политинформация?» — спрашивала его обычно Женя. «На высшем уровне».

За два квартала до работы они высадили Женю, и оттуда она, как всегда, пошла пешком.

## ГЛАВА XX

После гражданской панихиды на полквартала растянулись похороны: автобус, широко опоясанный траурной полосой (к стеклам его изнутри притиснулись тепло одетые спины), грузовик с венками, поставленными на обе стороны, как для обозрения, а дальше — машины, машины, машины.

Привлеченный зрелищем народ останавливался на тротуарах, выходили из магазинов, из учреждений, выскакивали официантки в кокошниках, слыша траурную музыку. Из непрерывно звонивших трамваев, пробиравшихся в тесноте, выглядывали в окна.

— Кого хоронят?

— А венков-то, венков!..

На перекрестках милиционеры останавливали движение, и скапливались машины по обе стороны.

День был яркий, одна сторона улицы вся в солнце. Белые халатики парикмахерш, оставивших клиентов в креслах глядеть на себя в зеркала, белые халаты в дверях аптек слепили. И далеко, долго было видно их: не хотелось девочкам уходить с солнца.

На улице 26 Бакинских комиссаров другие похороны перегородили дорогу. Повязав рукава чистыми носовыми платками, восемь мужчин — по четыре в ряд — несли на плечах открытый гроб, подставляли покойника солнцу. И в такт их мерному шагу качался над ними среди цветов желтый лоб и заострившийся нос.

В городе, на асфальте, было уже сухо, а по этой низинной улице стремились потоки воды, мощные ключи бурлили над канализационными решетками, и трамвай съезжал осторожно, будто не по рельсам, а пускаясь в плавь.

Выбирая дорогу посуше, люди шли гуськом, как по тропкам, вдову в черной шали вели стороной. И только эти восемь ступали сапогами по воде посреди улицы. А следом за ними то ли ехал, то ли медленно плыл грузовик, в кузове которого стояла кованая ограда, покрашенная серебрянкой, а в ограде тоже серебрянкой покрашенный обелиск с красной звездой, приваренной наверху. Они двигались за покойником, ограда и обелиск, которые будут стоять на его могиле.

Это всю ночь клепали, варили домоуправленческие слесаря. К утру успели покрасить. И в том, что гроб не поставили на машину, а несли его по городу на плечах невыспавшиеся, но выпившие в меру, во всем этом было желание потрудиться, хоть после смерти отдать человеку, что недодали ему при жизни. Он тоже был домоуправленческий слесарь-сантехник, и в сорок с лишним лет все — Николай. Жил, работал, случалось, сшибал с жильцов рубли и двугривенные, не давали — тоже не очень обижался; на Великой войне был солдатом — вот и вся его рядовая жизнь.

Из листового железа сварили ему памятник, такой же точно, как те фанерные со звездой обелиски, что ставили на одиноких и братских могилах по всем дорогам войны аж до Вены и за Веной, аж до самого до Берлина. Над сколькими из них, теперь уж смытых дождями, смытых временем, над сколькими теми могилками давно сеют хлеб, стоят города! Вот и он поравнялся с товарищами-однополчанами, вновь стал в один с ними ряд. Теперь уже навсегда.

Эти-то похороны и задержали растянувшиеся на полквартала похороны Александра Леонидовича Немировского.

При жизни, хоть и были они жильцами одного дома, мало знали друг друга, почти не соприкасались. Ну разве что придет Николай исправить кран или потекший бачок в туалете. И тут, если Лидия Васильевна по какой-либо причине не смогла избавить его от этого, Александр Леонидович, в чистой рубашке, в подтяжках, оказывался вынужденным присутствовать и побеседовать с Николаем о понятных ему вещах.

Перед решетчатыми воротами, на асфальтовой, нагретой солнцем площадке все общество вышло из машин. И стало видно, что здесь собралось много хорошо одетых, интересных, устроенных женщин с уверенными манерами. Они выходили из машин и взглядами, не допуская превосходства над собой, оглядывали друг друга.

И как во всяком большом собрании, тут тоже имелись центры притяжения, к которым стремились. Таким неофициальным центром притяжения стала жена Смолеева Евгения Аркадьевна, едва только она вместе с сослуживцами подъехала на такси. Она сразу была замечена, с ней здоровались, и двое-трое, кого она даже по имени-отчеству не знала, успели предложить ей место в машине на обратный путь.

А солнце светило так ярко, так слепили невысохшие лужи и мокрая земля, так свеж был воздух за городской чертой, где еще не начинали распускаться деревья, потому что здесь не дышат заводы и воздух ночами холодней; так вблизи этих голых, в шапках вороньих гнезд, старых кладбищенских деревьев было по-особенному сильно ощущение жизни, что живым потребовалось время собраться, что-то преодолеть в себе, прежде чем войти в раскрытые ворота, за которыми покоятся вечно.

Наконец все сгруппировались должным образом, и небольшое шествие двинулось. И тут подъехал Смолеев, подъехал Бородин, и одна за другой стали в спешке прибывать машины. Из них выскакивали, торопились присоединиться.

Андрей и Борька Маслов шли с краю растянувшегося по аллее шествия. Как много знакомых имен было высечено в граните, знакомые глаза смотрели с фотографий, барельефов, бюстов, многие из которых Борька же высекал.

В спешке жизни все как-то некогда задуматься и некогда считать, а люди уходят, уходят по одному. И сейчас Андрей увидел ясно: едва ли не большая часть тех, кого он знал, переселилась сюда. Значит, и его жизни большая часть здесь, за этой чертой.

На маленькой площадке под деревьями открылся траурный митинг, и вышел первый оратор. Но не все там поместились, многие курили здесь, среди оград. Андрей из отдаления отыскал глазами Аню. Стояла она позади Лидии Васильевны, с ней же вместе в автобусе ехала. Аня прикрыла глаза веками, показывая, что видит их обоих. И покачала головой: куда они запропали, она уже тревожиться начала.

Не все слова оратора доносились ясно, да Андрей

и не слушал. Вертелась в голове строчка чьих-то стихов: «Ту землю, где столько лежит погребенных...» Сейчас опустят, засыпят, пройдет время — и как не жил человек. Все тонет во времени: и судьбы и миры. Самый великий из всех океанов и самый бездонный.

Он опять глянул на Аню, и они встретились глазами. А рядом стояла Лидия Васильевна с дочерьми. Старшая, лицом похожая на мать, уже немолодая и потухшая, задумалась покорно, упершись взглядом. Но Людмила, похудевшая в эти дни до синевы под глазами и все равно яркая, в черной кружевной косынке, с медными концами волос, была вызывающе красива. Она глядела надменно поверх голов.

А на блестящем отвале мокрой глины, как на бруствере свежевырытого окопа, отдыхали могильщики. Курили в облепленных тяжелой глиной сапогах, накинув ватники на потные спины. Один что-то ровнял сверкавшей, как нож, лопатой. Рукоятка у нее была укороченная для удобства: рыть приходится в тесноте. Но, в общем, и лопата и ручка — по образцу тех немецких лопат времен войны.

Уже другой оратор говорил, и все так же молча, без шапок стояли люди. А наверху, над старыми березами, каркали вороны, то садясь, то взлетывая над гнездами.

Нечаянно Андрей наткнулся взглядом на Зину в толпе. Вся расхорошась и сияя, Зина что-то щебетала около Смолеевой. Та без любопытства, холодными глазами смотрела на нее, холодно улыбнулась. А Зина по своей близорукой манере говорила близко-близко к лицу, только что в глаза не прыгала.

В нем не было суеверного страха вблизи смерти. За четыре года войны достаточно нагляделся он и думал о смерти спокойно. Детей вырастить, поставить на ноги, чтоб никто походя не отпихнул локтем. А тогда и его черед. Это справедливо. Смерть вообще справедлива по своей сути, как она всегда была в природе. Для нее

единственной нет ни преград, ни заповор. От многого она избавила человечество. Не будь ее, давно бы жизнь прекратилась. Или вечно всем скопом муравьиным волокни бы камни для какого-нибудь бессмертного фараона, строили бы пирамиды египетские... Она тогда несправедлива, смерть, когда люди сами направляют ее. На безвинных, на детей, на целые народы.

Он вздрогнул внутренне, услыша вдруг объявленную громко фамилию— Анохин. С упавшими на лоб волосами и шляпою в руке вышел ко гробу Виктор.

— Товарищи!

Постоял скорбно и вновь поднял голову:

— Невозможно поверить! Два дня назад мы все...

Андрей слышал вчера, как Полина Николаевна просила Анохина выступить на траурном митинге: «Было бы хорошо, если бы именно вы как знавший близко...»

Виктор прокисло смотрел на нее: «Ну почему же я именно? Я ведь не мастак речи произносить. Да.— И надулся важностью: — И вообще это же так не делается».

Он знал уже, как делается. И сверху вниз твердо дал понять, что не ей с подобным предложением обращаться к нему. Поскольку, мол, его выступление это уже не просто частное мнение, а отражение той оценки, которая сложилась в результате учета всех плюсов и минусов.

Воспитанная в дисциплине, Полина Николаевна враз оробела и сникла. «Подумать только! — говорила она после и всплескивала руками.— Александр Леонидович столько для него сделал, так из-за него пострадал! Мог ли он ожидать при жизни?..»

Но и это потихоньку, доверительно, прикрыв дверь.

А вот Анохин сейчас при всем, что именуют «весь город», говорил прочувствованные слова. Значит, доверили, сочли. Что теперь Полина Николаевна, кто услышит ее? Да ей и самой неловко станет бросить тень.

— ...Александр Леонидович Немировский знал творческий трепет перед пустынной белизной чистого листа ватмана. Критерием красоты была для него истина, а критерием истины — мораль. Но истина, лишенная добра и человечности...

Андрей видел с удивлением: слушали весь этот набор слов, переглядывались значительно. Что-то недосказанное чудилось людям, смелое даже.

Давно Андрей не наблюдал вот так бывшего своего друга, хоть и встречал каждый день. Он весь расширился, словно затвердел в суставах. И эта ложная значительность в новой роли, эта поза, которую, впрочем, можно и за скорбь принять. Да нет, все это было. Было и раньше. И позерство тоже. Просто он не видел, потому что другими глазами смотрел.

Звучали слова: «Бескорыстие... Творческое горение... Мучительные поиски...» И вновь: «Истина... Правдивое выражение всех сторон... Красота...»

И сам он стоял весь в окружении этих слов как в ореоле. Вот ведь какой тон взял. Как бы только о высшем, отметая все прочее. И трогательно и глубокомысленно. Дамы любят, когда трогательно.

— ...Александр Леонидович Немировский всегда был центром, вокруг которого кипели споры и рождалась творческая истина. Когда мы молодыми архитекторами пришли в мастерскую, Александр Леонидович сказал слова, которые остались на всю жизнь в моем сердце.— Рука Анохина сама легла на сердце, и какое-то время он молчал, вслушиваясь.— «Я верю,— сказал нам тогда Александр Леонидович,— вы никогда не превратите архитектуру в средство достижения карьеры, но отдадите ей весь свой талант, всю свою жизнь».

Даже Лидия Васильевна смотрела сейчас на Анохина полными слез глазами, а ее старшая дочь с чувством пожалала ему руку, которую он до этого держал на сердце. И все были растроганы этой сценой. Дамы говорили:

— Как это благородно с его стороны!

— А ведь, говорят, Александр Леонидович что-то в свое время против него...

— Вы тоже знаете? Да. К сожалению, да...

— Очень благородный человек, так приятно видеть.

Анохина проводили взглядами, он смешался с толпой, на какое-то время вовсе исчез и возник уже вблизи Смолеева. Стоял, скромно потупясь, ждал.

Как будто и для Андрея сейчас что-то решалось, он смотрел издали. Было стыдное в этом — что он словно подглядывает исподтишка.

Он видел, как Смолеев несколько раз с интересом взглядывал на Анохина. Но не приближал взглядом, будто удерживал на расстоянии.

А почему, собственно, стыдно? Разве ж стыдно хотеть, чтоб люди не были слепы, видели происходящее? Ведь человек умер. Если не совесть, так пусть хоть бы страх древний, неосознанный останавливает: вот оно, место на земле, где не суетятся, не лгут, не строят расчетов. И если не здесь задуматься о главном, что всех ждет, так где же?

## ГЛАВА XXI

— Слушай, давай не пойдем на поминки,— сказал Андрей.

Борька посмотрел на него.

— Паньськи планы?

— Может, посидим вдвоем?

Сознавая, что в отношении Ани совершается предательство (правда, там и Борькиной молодой блеснули в толпе очечки, но если уж кто не видел их, так это именно Борька), они дождались удобного момента и по глухой аллее выбрались с кладбища.

А вскоре уже входили в ресторан второго разряда «Садко».

В зале пустом и прохладном блестели белыми скатертями накрытые столы, составленные в один общий стол. Приборы, приборы, и на каждом углом вверх синеватая крахмальная салфетка; дотягиваясь над ними, официантки с двух сторон уставляли стол серийными холодными закусками. Все они, и молодые и постарше, заулыбались, как только Борька вступил в зал.

— Кого женим, девоньки? Кого взамуж отдаем?

— Офицеры справляют,— раздалось на разные голоса.— Годовщина полка.

— То-то рано мы в запас поторопились.

В углу на самом уютном столике словно их специально ждала табличка «Занято». Молоденькая официантка — носик, губки вытянуты вперед, как мордочка у лисички,— схватила лишние стулья, ножками по полу отволокла их к стене. Борька сел, как богдыхан.

— Иронька, ты поухаживай за нами.

И прикурил и Андрею протянул огонь.

— А что вам принести?

Она уже стояла у стола в белом своем кружевном кокошнике, в белом передничке на животе, очень деловитая; от пояса на бумажной веревочке висел на боку карандаш.

— Да уж принеси чего-нибудь. Мы с похорон сейчас, хотели посидеть. А что нам по деньгам — сама знаешь.

— Вы прошлый раз свои стихи читали.

— А я тебе прошлый раз ничего должен не остался? Гляди!

И познакомил ее с Андреем. Ирочка, очень вдруг застыдясь, дощечкой подала ладошку, чуть потную и холодную.

— Человек он погибший,— говорил Борька,— женат, любит жену и двух чудных детей. Конечно, мы это переживем. А руководящее указание будет тебе от нас одно: спешим начать.

Ирочка поменяла местами солонку с перечницей, тем самым наведя порядок на столе, ушла, будто встревоженная, не улыбнувшись ни разу.

— Какие ты ей стихи читал?

— Да, может, Пушкина под настроение. «Буря мглою небо кроет» запомнили со школы, а что-нибудь еще, так, думают, сам сочинил. И вот смотри: великая поэзия опять звучит, как будто сегодня сказано. Я им как-то Фета читал: «Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть? Но жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя...» Фет! Так Ирочка вот эта слезы утирает. Тут ведь каждый от них норовит, а чтоб по-человечески — некому.

Они как раз успели покурить не спеша, когда Ирочка с напряженным лицом внесла поднос и начала составлять на стол. И все это являлось перед ними: маслята маринованные с луком, селедка, горячая картошка, соленая капуста, хлеб черный, свежий, масло холодное, в каплях воды.

— Ну не умница? — чистосердечно умилился Борька.— Ты посмотри на стол: и врагу не жалко, и хорошего человека угостить не стыдно. Это она меня спасает от разорения.

Он разлил по рюмкам замороженную «столичную»; на побелевшем, заиндевелом стекле остались протаявшие следы пальцев.

— Ну, помянем старика.

— Вот от кого не ждал...

Выпили. А все как-то сосало в душе, тянуло беспокойно. Андрей искал глазами повместительнее что-либо. В фужере шипел, постреливал боржом. Но Ирочка на расстоянии углядела, очень уж она за Борькиным гостем ухаживала:

— Вам чистый фужер?

Налили в эту посуду. Потом Андрей медленно жевал

хлеб, ждал. И наступил этот момент, когда все отодвинулось на расстояние, потеплело перед глазами.

— Жаль старика.

Борька сказал:

— Умер он не сегодня. Сегодня только вынос тела. А вот когда свой талант загубил.

— Жаль, Борька. Все равно жаль.

— Разве ж не жаль? Жизнь прожить — тут мужества надо поболее, чем один раз смело умереть. На целую жизнь.— Борька с сомнением покачал головой.

А в общем, это и их жизни часть ушла вместе с Немировским. И не в том дело, что они крепче его оказались или смогли устоять, но дело еще и в том, что на изломе их жизни время обнажило многое и увиделся простым глазом иной масштаб цен.

— Нет, ты подумай, ведь не от пули! На войне хоть пулей, миной убивало. Ну от чего умер человек? Танки шли? В президиум не выбрали. И вот этого сердце не выдержало.

— Болезнь века!— басил Борька.— На первом месте среди всех. Рак, автомобильные аварии и те уступают. Отстают.

— Ну что терял, если подумать? Блага? Всем им две копейки цена в базарный день.

— Так это разве умом решается? Давай за твоих детей.

— За них — давай.

— За Машеньку, за Димку. Ох, долгий путь! Ладно, отец. Давай. Хорошие у тебя дети. Мне другой раз кажется, что это мои.

— Учту, когда помирать буду. Сиротами не останутся.

— Давай.

— Меня Митя на днях спрашивает,— заговорил Андрей, когда опять закурили.— «Папа, почему вы говорите «вечные вопросы»? Они потому вечные, что на них

ответить нельзя?» Ведь вот маленький еще, а головенка работает. Чего-то она думает там... Это чудо, если представить... Миллионы, миллиарды лет. А между миллиардами и миллиардами — свет вспыхнувший. Искорка. Сколько затоптано таких! И вот думает, понять хочет. Нет, говорю, сын. Они потому вечные, что на них самому отвечать надо. И каждый раз — своей жизнью. Страшно за них, Боря.

— А ты не страшись. Может, еще гордиться будешь.

— Да, так... Я тебе другой раз завидую.

— А я тебе.

— И все же ты — свободней. Знаю, не дети, не семья, характер вяжет. А все-таки, чтоб делу служить...

— Какой тебе свободы надо?

Но тут в зал, соблюдая субординацию, теснясь в дверях, начали входить офицеры.

Открытые кители, свежие рубашки подгалстук, сами все как после бани, офицеры рассаживались за столами, очень сдержанные в предощущении. И изо всех концов зала, где обедали штатские, смотрели на них дамы, светло улыбаясь.

Сразу забегали, замелькали с подносами официантки: в присутствии такого множества военных мужчин зримый интерес обрели их старания.

Места занимали по чину. На нижнем конце стола потесней усаживались взводные. И такие они были только что выпущенные, в звездочках, блестящих пуговицах, золотистые и новенькие, как выщелкнутые из обоймы на ладонь пистолетные патроны. Из всех возможных боевых наград груди их пока что украшали значки выпускников военных училищ, очень похожие на значок гвардии.

На этом нижнем конце стола не хватило и приборов и мест. Все это срочно доносилось, доставлялось, трое лейтенантов, хмурые от смущения, ждали стоя. А у окна препирались, тыча пальцами в счет, метрдотель в чер-

ной тройке, почтительный, но непреклонный, и пожилой, докрасна разволнованный майор.

— Твой,— сказал Борька,— артиллеристы.

— Артиллеристы,— сказал Андрей.

И улыбались, в юность свою глядели. В их лейтенантскую пору и звездочки и эмблемы за неимением вырезали из консервных банок, а молоды они были так же. Но, странное дело, не казались себе молодыми.

Их ровесники сидели на другом конце стола: майоры, подполковники. Но и капитаны там были тоже. Все еще капитаны. Лица словно заветрены на всю жизнь. И многие, видно, надорваны. Но все прямые, долго способные еще тянуть ляжку.

Волнуясь отчего-то, Андрей смотрел на них. Ах, какими выносливыми были те артиллерийские лошади со стертой до кожи шерстью, с растертой в кровь кожей, как они яро влегали в построения, как упирались дрожащими от натуги ногами. И тянули, тянули, где и трактор глох. А когда убьет бомбой, жироватое мясо, навывлет пропахшее потом, бывало, не уваришь в ведре. Ему даже запах тех костров почудился, будто допахнуло издалека.

Грохнув стульями, встали офицеры: это в конце стола поднялся полковник с рюмкой в мясистой руке. Он молод годами, моложе многих за столом, плотный, свежий, с двумя рядами наградных колодок: все послевоенные медали. А из той поры голубенькая «За отвагу». Видно, самый краешек войны застал. Рос полковник уже в мирное время.

Он говорил, не напрягая голоса, не все его слова были слышны на отдалении, но офицеры стояли прямые, повернув головы в его сторону. Полковник чуть-чуть улыбнулся тугими губами, поднял рюмку на уровень глаз, строго смотревших сквозь улыбку. Все выпили махом, сели. За столами, где обедали с дамами, сочувственно улыбались, особенно понимающе — дамы.

И загудел зал множеством голосов, запорхали над

офицерскими погонами белые кокошники официанток. И уже оркестранты раскладывали на эстраде, доставали из футляров блестящие, как в операционной, инструменты.

А Андрей все поглядывал на своих ровесников. Не так уж много их за столом, где поколение за поколением — как волна за волной: к концу спадающие, в начале самые полноводные.

Может, в том все дело, что отбился он от строя, а ему по силам лишь в общем строю? Как все было ясно, как в ладу с самим собой! И долг, и совесть, и приказ — все слилось, в одну сторону нацелено. И нужно было не рассуждать, а выполнять.

А Борька смотрел на него, как с листа читал.

— И ты же, Андрюха, свободы хочешь? Нет, она тебе не нужна.

Опустив веки, Андрей разминал сигарету. Лицо спокойное до безразличия.

— Свободы мне нужно одной: выполнять свои обязанности.

— Так это же каторга. Из тюрьмы бежали, из-под расстрела бежали, а от этого еще не убежал никто.

— Может, так.

— Так, Андрюха, так! И все дано, а не свободен. И отнято все — тоже не свободен.

«Да, к стае вновь не пришьешься,— думал Андрей.— А что-то заложено, что не дает поступать иначе. Что это? Зачем дано?»

— А знаешь, кто свободен? Твой бывший друг. Я видел, как ты глазки опускал, когда он речь свою произносил. А я смотрел. Я слушал и смотрел. Вот истинно свободный человек. Любым стилем в любую погоду. Пловец в море житейском. Великих вопросов для него не существует. Что там смысл слов! Для этой породы слова — защитная окраска. То простачком: «Разрешите доложиться!» То глубокомысленно: «Истина, мо-

раль, красота...» То непримиримым борцом. И во всех случаях — своя выгода. Только глуп до многозначительности. А если б еще не страх!.. Вот страх всю жизнь будет его мучить. Сейчас — «получить, не упустить». Потом — «не потерять».

— Слушай, ну его к черту. Не хочу я говорить о нем.

— Ну да, мы же интеллигенты. Но тебя он любит, учти. С совестью, как с неверной женой: если уж остался жить с ней, враги все те, кто знает про нее.— Борька выпил рюмку, хмурые глаза глядели трезво.— Мы по своей рабской глупости думаем: великие злодеяния совершить — это ведь что-то великое надо нести в себе. Да ни боже мой! Надо только ничего не иметь. Свободным от всего. Смотри на них просто. Самый примитивнейший механизм. И пережил века. Слушай, что вообще вас связывало? Я всегда удивлялся. Вы же разные люди, как вы могли дружить?

Это и Аня всегда говорила. В лучшую пору она не верила Анохину. А может быть, действительно в дружбе слепнешь и видишь в человеке то, чего в нем нет? Или, наоборот, один ты видишь, что не видно другим? Сегодня на похоронах он смотрел на Анохина — чужой человек. Чуждый, позер. Неужели он был слеп настолько? Честно сказать, он и сейчас не знает, что было, чего не было.

Странная все-таки вещь дружба. Ведь вот он любит Борьку. И Борька умен, не чета Анохину, по мыслям близок, по всему. И уж не продаст, это точно. А дружба у них никогда не получалась. Что же это за штука вообще, дружба? Ведь в ней тоже человек не волен. И она отбирает у него свободу, делает его зависимым от другого человека, а он этой несвободе рад, сам налагает на себя неписанные законы, готов жертвовать, поступаться. В чем дело? Чужой человек, а делается вдруг как брат.

Вот брата ему всегда не хватало. Жена — это жена. И дети — это дети. Но всю взрослую жизнь ему не хва-

тало брата. Есть вещи, о которых только с ним станешь говорить, только с братом.

Брат был старше Андрея на три года. В школьную пору это много, три года. После уж война сравняла, а тогда это были разные поколения. Конечно, каждому времени свои мысли, и принимают за свою мысль ту, что носится в воздухе. И все же сколько он помнит брата, их поколение думало, оценивало события, хотело понять. А они, младшие, уже не рассуждая принимали на веру. Думать они начинали после войны.

Всю жизнь ему стыдно, что он сказал тогда брату эти слова: «Случись война, ты не пойдешь на фронт. Такие, как ты, не идут умирать за родину!»

А брат смотрел, его же еще жалея. Ведь по годам мальчишка, школьник, а была в нем мудрость, уже понятно было ему: «Ибо не ведают, что творят». Теперь, когда он вдвое старше своего брата, он знает, что думал тот, почему так на него смотрел.

Ссора началась тогда как будто случайно. Но не случайно, если подумать. Было это в воскресенье утром. Андрей рано выбежал за хлебом, но уже толпился во дворе народ. Люди смеялись, а ниже всех, на скамейке, где дети играют в песок, сидела женщина из второго подъезда и тоже смеялась и плакала.

Это была та пора перед войной, когда за двадцать минут опоздания на работу стали судить. Андрей учился в школе, он только понаслышке знал, что делалось утрами на трамвайных остановках. Двадцать минут — и вся жизнь переломлена.

Оказывается, женщина эта из второго подъезда вскочила со сна, глянула на часы и с воплями, едва платье натянув, выскочила из дома. Только во дворе под общий хохот дошло до нее, что не опоздала она: воскресенье, не надо на работу идти. Люди смеялись, а она плакала от радости.

С этим-то известием, с хлебом в руке и громким го-

готовом Андрей влетел в дом. «Что ты смеешься? — спросил брат. — Ты хоть понял, что ты видел сейчас?» И тихо, внятно, как больному или глупому, стал говорить о том, что не безразлично, какими средствами достигается даже благая цель. И многое еще он говорил, чего в свои тринадцать-четырнадцать лет Андрей конечно же не мог понимать. Но и не понимая, он различал на слух, где, от каких слов должна взорваться в нем законная нетерпимость. И он крикнул брату: «Такие, как ты, не идут умирать за родину!»

Не исправишь и не изменишь. Так это и осталось навсегда. И не скажешь брату, что не всю свою жизнь он вот таким дураком прожил, что живы в нем и сегодня и слова, и голос, и взгляд, которым брат смотрел на него.

Брат погиб в сорок первом году, в ту страшную осень, когда впервые решилась судьба нашей победы, когда вот такие, как он, жизнями своими безымянными заслонили Москву.

— Это теперь слава и звезды сияют,—говорил Андрей.— А все над ними. На них все воздвиглось. Они в земле, в основании нашей победы.

— Так, Андрюха, так.

— И то мне, Боря, самое обидное, что ведь он за всю свою жизнь целых брюк не износил. Знаю, не это жалеть надо, но вот почему-то брюки его протертые так мне обидны... Может, помнишь, тогда плату ввели за обучение, перед войной? А он в Москве, на втором курсе, хоть институт бросай. И мать, что она могла одна? Да он и не хотел, он какой-то самостоятельный был рано. И вот эти уроки, по которым он бегал, ботинки мокрые, брюки протертые его... А уже девушка была, она после войны замуж вышла.

Несколько раз бодрой походочкой выходил к микрофону певец, становился, сложив руки. От повисших фалд, от тонких в брючках ног носками врозь к лосня-

щимся черным плечам, раздутой белой груди, весь он тянулся вверх, как стриж, вставший на раздвоенном хвосте. Дружной окутывались дымом офицеры: это про них, для них песня — «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». Курили штатские, будто завидуя. Курили дамы, относя от покрашенных губ сигаретки в покрашенных ногтях.

Совсем забегавшаяся появилась Ирочка:

— Клава сменами обменялась, три стола ее на меня навалили. Все такие нервные, такие нервные...

Смела салфеткой крошки со скатерти, переменяла бутылку. Еще раз пробежав, поставила на стол черную сковороду с поджаркой.

— Ну умница,— хвалил ее Борька.— Дай тебе бог хорошего жениха.

— Нам хороших не дожидаться, они рано спать ложатся!

Но и это на бегу, мелькнув передничком в дверях.

А на нижнем конце стола, но все же и к середине поближе, взводные со стульями вместе обсели своего нового комбата капитана Рыженю: фамилия его часто произносилась вслух. Черноволосый, со строгим прищуром, в очках с темной оправой, похожий больше на дипломата, он говорил взводному, который полной рюмкой тянулся к нему:

— А ты меня еще как комбата не знаешь. А ты еще со мной как с комбатом не пил.

И ничего наперед не сулил улыбчивым взглядом.

Тут на углу поднялся лейтенант:

— Я предлагаю тост...— Бледный сделался, лицо решительное.— Я предлагаю тост за командира нашего полка полковника товарища Градополова!

Выпил, крикнул «ура», сел, будто нырнул в гул голосов.

Вновь на эстраде загрохотало, зазвенело, длинная выбилась дробь. И смолкло. И тихо, будто не в микро-

фон, а каждому особо на ухо зазвучала песня: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...»

Песня была новая, только появилась. Они слушали ее молча, глубоко затягиваясь сигаретами.

Неужели же главное дело его жизни осталось там, на войне? А он все живет так, будто ему дано еще совершить. А ведь сорок лет пробило...

В чем-то все же Борьке проще. Хоть до какой-то поры он сам себе спрос и судья. А что архитектор может сам? Заказывает заказчик. А может, дело в том, что тебе не дано? Анина мать говорила, бывало: «Даст бог его, даст и на него». Они тогда с Аней ждали Димку, и ничего еще не было, и жить было негде, а мать спокойно так говорила: «Даст его, даст и на него...»

Вот так и талант. Когда настоящий талант, ничто не остановит, «заложим жен и детей...». А если нет, так что уж! Но еще и не додумав до конца, увидел стыдную изнанку этой мысли: мы не гении, какой с нас спрос... Несчастен тот народ, где спрос только с гениев, а остальным в утешение: «Что мы можем?» Уж это он повидал и знал, что можем. Если б они все четыре года не месили глину, ни один бы маршал не выиграл войну. Это в школе все заучивали по Тургеневу: без каждого из нас родина обойдется, но мы не обойдемся без нее... А час пробил — и поняли: не обойдется родина без нас. Я ее должен заслонить. Сам. Каждый. Кроме — некому. Может, потому и победили, что поняли.

А песня говорила с ним один на один:

Летит, летит по небу клин усталый,  
Летит в тумане на исходе дня,  
И в том строю есть промежуток малый —  
Быть может, это место для меня.

Да, так. И пусть так будет. И спокойно и твердо было сейчас на душе. Человек не бывает свободен: Ни

от тех, с кем вместе жизнь свою жил, ни от тех, кто жил до нас и нам жизнь оставил. И ни от тех, кто после нас жить будет. Не дано людям освобождение от того единственного, что сделало их людьми.

Когда они уходили с Борькой и гардеробщик, отставя кружку с горячим чаем, подавал им плащи, Андрей увидел в зеркале позади себя лоточницу, толстоватую в своей белой куртке. Видно, торговала она от ресторана вразнос и сейчас, с пустой корзиной, обшитой изнутри белой материей, от которой пахло жареными пирожками, смотрела из-за портьеры в зал на офицеров. Там не столько на старших по званию поглядывала молодежь, сколько старалась обратить на себя внимание пробежавших официанток. Женщина смотрела из-за портьеры и улыбалась:

— Какие молодые. Какие красавцы все! Сколько же их там осталось...

Они вышли из ресторана. Красное закатное солнце в сизоватом тумане стояло в конце улицы, низко над блестящими трамвайными рельсами. Оно сулило покой ушедшим, оно светило живым, кто вновь увидит завтра его восход.

## ГЛАВА XXII

Кончался этот долгий день. Было поздно, когда Виктор и Зина вышли подышать перед сном. Одетые тепло (весна— самое обманчивое время), они гуляли по переулку, где не горели фонари. В их шестиэтажном доме гасли окна: пройдут до угла — погасло окно, дойдут до другого угла — и вот еще окно погасло.

Зина экономии ради надела старое пальто, хоть и тесноватое, но еще совсем хорошее, драповое: в темноте ведь никто не увидит. А новое ее пальто с узким меховым воротничком из голубой, нигде еще не потерявшейся норки, в котором она сегодня была на похоронах, висело

в шкафу в специальном мешке с «молнией». И еще нафталин она повесила туда: насыпала в старый носок Виктора, завязала узлом и повесила внутрь — никакая моль не проникнет. От сознания, как ему там хорошо висеть, Зине хорошо было сейчас в старом.

— Как тебе показалось,— спросил Виктор, подтыкая шарф на горле,— понравилась ты Смолеевой? Произвела на нее впечатление?

Зина и сама себя спрашивала об этом. Очень ей хотелось понравиться, но какая-то она странная, Евгения Аркадьевна. Только смотрит своими глазами и молчит.

— Ну ты сам подумай,— сказала Зина, и голос у нее был сейчас как у девочки,— ну чем я могла ей не понравиться?

Остановившись под фонарем, Виктор протирает очки концом мохерового шарфа. Он думал. Глянул сквозь стекла вверх на свет. Потом еще теплей подоткнул шарф на горле.

— Да, ты права.

— Вот и мне кажется.

— Да.

— А знаешь, ко мне сегодня подходили, поздравляли.— Зина засмеялась как застенялась.— Всем так твоё выступление понравилось.

Виктор сделался вдруг значителен и строг.

— Да многие те пер ь подходят...

После похорон им целиком завладел Зотов. С воодушевлением и горячностью, а главное, совершенно искренне — вот это особенно приятно было Виктору! — он говорил, как острó, как умно («умно» — это больше, чем «умно»: тут вместе соединилось «умно» и «политично»), как смело, с каким тактом, но и глубиной Виктор Петрович сказал, какое глубокое впечатление это произвело. Оказывается, к Зотову тоже подходили поздравить и выразить.

Пока они шли по аллеям, а потом стояли среди отъ-

езжавших машин, Зотов все говорил, а Виктор слушал, солидно наклоня голову, с нелицеприятным деловым выражением, абсолютно исключавшим какую бы то ни было комплиментарность. Так оно и выглядело со стороны: беседуют, головы наклоня, два ответственных человека: ведут деловой разговор.

Но, слушая, Виктор из виду не упускал, с кем идет к своей машине Смолеев Игорь Федорович. Почему-то ему казалось, до последнего момента все казалось ему, что Игорь Федорович, который так ничего и не сказал, позовет его с собой в машину. И он готов был отреагировать должным образом.

А когда у Зотова проскользнула почтительная фразочка об особом к Виктору Петровичу расположении Бородина, о большом доверии к нему, Виктор решительно пресек это и отмел. И ему самому понравилось, как он не глянув пресек и отмел. (А если бы глянул, увидел бы, что Зотов, на лету смекнувший, и для себя сделал полезные выводы, сориентировался, словно инструкцию получив.)

— А знаешь, кто еще подходил? — вспомнила Зина.— Вот эта... Ну как ее?.. Она еще при Немировском состояла всегда.

— Михалева?

— Она! Так хвалила, так хвалила, всю прямо забрызгала слюной.

Не сговариваясь, они почему-то отошли от стены дома, где были окна, и начали прогуливаться на отдалении, под деревьями. Словно там хотели рассмотреть вдвоем те приобретения, которые каждый из них внес в дом сегодня.

Михалева — это хорошо. Виктор поцеловал Зинушку в висок. Михалева — это добрый знак. Пришла, значит, отметиться. Хозяина ищет. Ничего, пусть... А там поглядим. Пусть пока.

Вдруг ему как-то беспокойно стало. Словно подуло

со стороны. Он не сообразил хорошенько — откуда, что? Как будто бы все хорошо, а вот делается вдруг так беспокойно... В последнее время это бывало.

Почему так странно смотрел Смолеев? Он тогда пошел, скромно стоял вблизи него, солидно молчал, весомо кивал. Крепче всех истин знал Виктор: никогда так умно не скажешь, как умно промолчишь. Он стоял с тем думающим выражением, которое у всех здесь было. А когда зав транспортным отделом Паншин похвалил его речь и по пояснице похлопал, как бы слегка выдвигая вперед, Игорь Федорович улыбнулся. Но тоже странно улыбнулся: вот и одобрительно, а взглядом не приблизил. Не возникло того радостного чувства, того прилива сил, когда хочется делать и сметь.

Виктор уже привыкать начал, что ему рады. Вот хоть то же пальто с воротничком потребовалось Зинушке. «Да господи, Виктор Петрович!..» Хорошо, когда люди рады друг другу. А вблизи Смолеева он как-то связанно себя чувствовал. Видел он издали, как Смолеев садился в машину. Сел, занес ногу, дверцу захлопнул за собой. И уехал.

И еще то заметил Виктор, что уехал Игорь Федорович без жены. А она, хоть многие предлагали ей место в машине, ловила с сослуживцами такси, и набилось их туда не то четыре, не то пять человек друг другу на колени. Она вообще моложе его и, говорят, имеет влияние. Но говорят-то говорят, а тут тоже важно не ошибиться.

— Ты когда разговаривала с Евгенией Аркадьевной, у нее не могло создаться впечатления, что ты уж так уж?..

— Виктор, ты меня удивляешь!

И, мягко ступая своими толстыми каучуковыми подошвами, Виктор сказал вслух понравившуюся ему фразу:

— Хорошо, когда люди просто радуются друг другу. Хорошо, когда в жизни все естественно.

Как это важно, как важно в жизни не ошибиться! Ведь не исправишь потом. Был у него такой момент два года назад. Все начали выступать с трибун, становились известными... И мысли, которые они высказывали, могли быть его мыслями, а известность их могла быть его известностью. Один раз он решился. «Не могу молчать!» — сказал он себе мысленно и Зине вслух. Что с ней было! Это же счастье, что в последний момент он все же удержался. Прямо вот что-то сказало ему, как за руку взяло в последний миг.

Он опять с нежностью поцеловал Зинушку в висок, и некоторое время они молча ходили, оба закутанные тепло. Хорошо пахло в воздухе молодым тополем, первым клейким листом.

— Ты чувствуешь, какой воздух? Как пахнет? — Виктор глубоко вдохнул носом. — Есть в этом во всем... Вот в этом весеннем воздухе, в этом мерцании близких звезд, близких и таких далеких, есть во всем этом что-то такое, — начав говорить, Виктор почувствовал волнение, — что-то невыразимое...

Зина сбоку с удивлением, с уважением смотрела на него. Он чувствовал этот взгляд и возбуждался, очки его блестели сильнее.

— ...что-то такое прекрасное. Мы всё спешим, всё чего-то хотим достичь, как будто оно там где-то. А оно здесь, и это «здесь», если вдуматься, прекрасно. Надо только уметь видеть его и ощущать в полной мере.

— Виктор, ты прямо как поэт. Прямо как книгу хорошую читаешь. — Зина опять чего-то застеснялась. — И вот тоже сегодня, когда ты там говорил... Так хорошо, так вот все как-то, знаешь, я даже не все поняла.

Виктор покивал значительно и грустно, как бы сознавая, что ему суждено оставаться непонятым. Он давно заметил: люди с особым уважением слушают то, чего не понимают. И теперь он иной раз, как человек, который не наблюдает себя со стороны, поскольку не

этим занята его мысль, говорил как бы в творческом озарении фразы, значения которых и сам не понимал вполне. И видел, что это слушалось.

— Боюсь, ты переоцениваешь несколько... и вообще. Мы люди маленькие,— сказал Виктор в сознании тех больших возможностей, которые, как он надеялся, перед ним теперь открывались.

— Почему это мы люди маленькие? — обиделась Зина.— Так уж тоже себя не надо. Это дать повадку — многие захотят. Это Андрей все раньше хотел. А теперь с этой своей завидуют.

— Мы не должны судить людей только по тому, как они к нам относятся,— сказал Виктор.— Пусть он так. А мы не должны.

— И ты же еще его жалеешь! — возмутилась Зина.— После всего, что он тебе сделал! Вот так мы всегда. Потому что мы всегда такие!

— Да, есть это в нас. Но мы уж себя не переделаем.

— Не говори, пожалуйста! У меня нервная система!

Зина никогда никаких определений больше не добавляла: что ж еще можно добавить, если вся ее система — нервная?

— У меня вот сердце начинает биться...

— Ну что ты, Зинушка. Ну зачем уж так уж...

— Нет, но как ты после всего можешь еще жалеть? Так нам и надо за нашу простоту!

Сознание собственного благородства приятно было Виктору. Приятно было прощать. Он не враз дал убедить себя, не сразу пришел к непредвзятому выводу. А когда заговорил, голос его был печален, трогателен и тих:

— Если отнять у человека руку, у него останется другая рука. Если отнять у человека ногу, у него останется другая нога. Без руки и без ноги человек может жить и даже функционировать. Но стоит сделать вот

такую крошечную дырочку в сердце — и человек умирает. Эту рану он мне нанес.

И Виктор опять подоткнул шарф, сильней укутал себя.

В доме гасли окна. Погасла лужа на асфальте, как будто исчезла враз: это выключили настольную лампу, стоявшую на окне третьего этажа. Теперь светился там зеленый аквариум.

Виктор и Зина некоторое время еще прохаживались по переулку, оба тепло одетые, близкие. Они прожили в этом доме девять лет. Они знали: скоро они переедут в другой дом, в лучший.

### ГЛАВА XXIII

Борька позвонил в пятницу среди дня:

— Андрюха? Живой, здоровый и гениальный? Чего делаете сегодня?

Обычно в мастерскую Борька не звонил. И вообще без крайней нужды сюда не звонили. Телефон был один, говорить приходилось от стола Полины Николаевны, она же очень беспокоилась, что именно сейчас, сию минуту Александру Леонидовичу потребуется позвонить. И потому, перестав печатать, сидела, держа руки наготове. Энергично ждала.

Сейчас и заботиться было не о ком и печатать нечего; одна она сидела там, откуда ушла жизнь. И рада бывала, если заходили к ней поговорить. Среди всех служебных перемещений и назначений, которые сейчас совершались в мире, где и премьер-министров свергали и королей, одно-единственное тревожило и занимало ее целиком: кого теперь назначат руководителем их архитектурной мастерской. С этим вся ее дальнейшая жизнь была связана. Да и всех в мастерской это теперь волновало. Различные были соображения, различные слухи циркулировали, называли Анохина. И когда сейчас по-

звонил Борис, у Андрея мысленно все сразу с этим связалось: что-то он узнал. И в глазах Полины Николаевны, смотревших на него, был немой вопрос.

— Ты что звонишь? Зайти хочешь?

— Нет, тут другое. Ты вот что прежде скажи: дети здоровы?

Если бы мысль не вращалась вокруг все того же, Андрей понял бы сразу простой смысл, который в Борькином вопросе содержался: тот хотел узнать, свободна ли вечером Аня, и потому начал с главного для нее — здоровы ли дети?

— Здоровы, здоровы. Давай выкладывай, что имеешь. Сообщай.

— Нет сообщить, пан. Пригласить. Конечно, я немолода, нехороша уже собой, и все же, все же... Вот если бы вы с Аннушкой смогли прибыть ко мне сегодня...

Андрей стал быстро вспоминать: день рождения? день свадьбы? Вот на что у него не было памяти! Впрочем, с днями свадьбы тут и запутаться не мудрено. А родился Борька осенью. Кажется, осенью. Аня это знает точно. На всякий случай спросил:

— Форма одежды?

— Чего-о?

— Скажи честно: тезоименитство?

— Я же в мастерскую зову! И вообще, когда зовут, приличный человек лапу к уху — и выполняет!

Испуг не испуг, а что-то в душе оборвалось: /

— Борька, закончил?

— Не задавай суеверному человеку такие вопросы. Придете?

— Само собой.

До конца работы дожил в нетерпении: что же там Борька такое сотворил? По голосу, по всему его шутовскому тону чувствовалось: волнуется.

А у самого нескладно все шло в последнее время.

Надо бы хуже, да уж, кажется, некуда. Отправил проект на конкурс, срок конкурса продлили. Известий, естественно, никаких, а слухов много.

Широкий жест Смолеева так широким жестом и остался. Ничего, кроме досады, из этого не вышло. Ему с тех пор не звонят, он пробовал звонить — не преуспел. «Когда есть цель, должно быть и терпение...» Эх, если бы только в терпении дело!

К тому моменту, когда он вернулся домой, Аня была уже одета. И детям все распоряжения даны, и ужин оставлен. Его только ждала.

— Смотрите, как мать наша разнарядилась сегодня!

Аня стояла в передней у зеркала. Подняв обе руки к голове, закалывала шпилькой волосы. Спросила спокойно:

— Как же это я особенно разнарядилась?

Вообще-то, правда, все это Аня надевала не раз. Белый шерстяной свитер (он ей особенно идет), черная юбка джерси, белые короткие сапожки. Но так все сидит на ней, такая она сегодня в этом во всем! И глаза блестят по-особенному. Или он свою жену раньше не разглядел? Что-то ревнивое шевельнулось в душе. Оттого, наверно, и пошутил глупо:

— Враги человеку домашние его.

Аня взяла пушок из пудреницы, подула и сквозь облачко пудры в зеркало внимательно посмотрела на него.

— Вот правильно: ты — человек, мы — «домашние его». И детям есть что послушать.

А Машенька сзади поправляла на матери свитер: это ее мама, самая красивая. И Митя рядом стоял гордый, только что в ладоши не хлопал: он любит, когда родители оденутся и вместе идут куда-нибудь, любит оставаться старшим с сестрой. Они двое — это тоже она. Их глазенки на нее светят, всю ее освещают.

— Вы как на праздник, — сказал Митя.

— На праздник, сыночек. На самый настоящий праздник. Вот с таким хмурым отцом. Но мне он все равно настроения не испортит.

И не глядя Аня сунула руки в рукава пальто, которое Андрей держал.

Мастерская Борькина была в старом — лет двести, если не больше, — осевшем деревянном доме. Когда-то и улицу эту, и переулки, и дворы заселял ремесленный люд и мелкое купечество. Они и поставили все эти дома, теперь уже покосившиеся. А строили их из брошенных барж. С верховьев пригоняли баржи с товаром, тянуть бечевой пустые против течения было дорого, и нередко бросали их здесь, баржи, плоты. Из них-то и построились дома, пережившие своих хозяев. Под окнами во дворах — палисадники, земля, удобренная многими поколениями, черная, жирная, вся проросла сиренью: старые кусты отмирают, новые ростки сами прут из земли.

Когда сносили один такой дом, из-под фундамента зачерпнул экскаватор корчажку, и вместе с черепками, с глиной посыпались в кузов самосвала золотые и серебряные монеты. С тех пор стали искать тут клады. Едва из развалюх переселят жильцов в новый дом, а уже взломаны крашенные деревянные полы, расковыряны печи: ищут, что купцом зарыто.

Вот в таком доме, который ждал сноса, в углу двора помещалась Борькина мастерская. Может, и был когда-то порожек у входа — вроде бы все же ощущается камень под ногой, — но врос давно, дверь наружная едва не чертит по земле. Внутри все перекошено, пол покатый к одной стене, из зеркала печи половина кафеля повывалилась: старинный, крупный кафель, весь в мелких трещинах. Но окна высокие, свету днем много.

Они и дверь еще не раскрыли, а Борька уже стоял в сених. Был он не в обычных своих парусиновых брю-

ках, рабочей куртке с засученными рукавами, а во всем параде: костюм, рубашка, галстук повязан.

— У тебя народ? — негромко спросила Аня, глянув вглубь, где дверь в мастерскую была закрыта.

— Никого!

Это он их двоих ждал в костюме и в галстуке. Борька снял с Ани пальто, повел их прежде в крошечную боковую комнатку, где был у него топчан и низкий стол. На столе — тарелки с нарезанным сыром, холодным мясом, тарелка с красными крупными венгерскими яблоками. Раскрытая коробка конфет: вишня в шоколаде, Анины любимые. И бутылка коньяка в центре. Все это он к их приходу и нарезал тут и расставлял.

— Так... Значит, так...— говорил Борька и был как-то суетлив.— Сначала мы все же по рюмочке возьмем. Примем такой грех на душу.

Аня свободно села на топчан, покрытый шерстяным одеялом. Она одна сидела, пусть за ней одной ухаживают. Борька откупоривал бутылку. Был он абсолютно трезв и выбрит.

Аня снизу смотрела на него.

— Зачем сейчас, Боря?

— Дай ты нам, Аннушка, хоть перед тобой гусарами побыть. Чтоб с весельем и отвагой!

Она видела, он страшится того момента, когда поведет их в мастерскую, трусливо оттягивает его. Неприлично было видеть Борьку таким.

Аня не вставая забрала у него бутылку.

— Гусар... Повесь сначала мое пальто с весельем и отвагой. Или положи куда-нибудь.

Тут только и заметил Борис, что пальто все так же у него на руке; с ним в обнимку он открывал коньяк.

Аня и сама что-то начинала волноваться, на него глядя. И когда он опять взялся за бутылку, рассердилась:

— Перестань. Ведь не будем сейчас.

— Да? Ну ладно! — сразу согласился Борька.— Тог-

да я вот что: я все же несколько слов скажу. Ну, в общем, это не то чтобы закончено совсем. Нет! Но... сам не пойму. Чувствую только — начинаю портить. В общем, поглядите. Поглядите в самых общих чертах...

И пошел вперед, быстро раскрыл дверь в мастерскую. Но сам не глянул туда. В тот момент, когда они входили, засуетился, вернулся, начал искать сигареты на столе. Закурил. Сел.

Все было в нем сейчас напряжено. И чем дольше длилась там тишина, тем труднее становилось ждать. Затяжка за затяжкой он докуривал сигарету и морщился, как будто на больной зуб себе давил.

Не усидев долго, пошел туда. Тихо ступал на половицы, которые не скрипнут под ногой.

Они не слышали, как он встал в дверях. А он быстро, испуганно схватил выражения их лиц. У Ани в глазах были слезы. И в тот момент, когда он увидел их, ему обожгло глаза, и толстые губы его задрожали.

Здесь стоял великий человек, великий и счастливый. За миг такого счастья, все за него простится. И все готов он претерпеть вновь и вновь, сколько бы ни пришлось ему идти тем же путем.

То, что они видели, каждому из них говорило свое. На камне сидела военная девушка. В шинели, жесткие рукава длинны и подвернуты, пилотка, снятая с головы, повисла в руке. И такая долгая, не одного месяца, не дня одного, усталость лежала на ней, что она и втянулась и привыкла. Но сквозь нее, сквозь все, что впереди ждало, вглядывалась она без улыбки в даль, а в самой глубине ее глаз жила нечаянная радость: дайте отоспаться — и вновь оживет.

Ни поля этого не было — осеннего или весеннего? — ни того, что видит она впереди, а все видно, все здесь. Сапоги ее почти что по щиколотки ушли в грязь — столько ими пройдено по этой войне, где одним мужчинам оказалось не справиться. И больно было на нее смот-

реть. И гордо. И что все мужские подвиги перед ней, заморенной такой и святой.

А на Андрея из глаз ее, от усталости суровых, Аня смотрела. Так увидеть, так понять мог только тот, кто любил. И любил в Ане то же, что и он сам: правдивую ее душу. Она-то и светилась из глаз. Вот ведь через все прошла, а ни грязь, ничто к ней не пристало. Чище мы чистого!

И Аня смотрела на серую, из камня высеченную военную девушку в шинели. И прощалась. Она прощалась с тем, что так долго, как воздух, окружало ее.

Какие-то подавленные сидели они потом. А Борька, ошпаренный радостью, разливал коньяк, проливал мимо рюмок.

— Ребята, вы ж мои самые дорогие! Аннушка, родная моя! — Он схватил ее руку, поцеловал, прижал к своему лицу. — Андрюха! Давайте!

И ждал их слов, жаждал и стыдился.

— Не надо ничего говорить. Не будем. Да, черт возьми, в конце-то концов, давайте уьемся!

И, вытащив другую бутылку из-под стола, срывал с нее металлическую пробку-«бескозырку».

Выпили по рюмке. Мужчины вдвоем еще по рюмке выпили. Но не пилось что-то. Пустыми глазами глядя перед собой, Андрей ронял только:

— Да-а, Боря... Черт тебя знает... Да-а...

Чувствовал он себя придавленным, оттого и в глаза трудно было взглянуть.

Была, наверное, уже вторая половина ночи, когда Аня проснулась, услышав, как кто-то ходит. Андрея рядом не было.

— Ты что? Куда ты?

Он обернулся от двери:

— Спи. Курить пошел.

Ей очень хотелось спать, и она заснула. Но вдруг

проснулась совсем. Его не было. Не было и не было. Уже тревожась и сердясь, Аня надела халат.

Он сидел на кухне на низенькой табуретке. Горела одна прикрученная конфорка, синие зубчики газового пламени.

— Ты что, с ума сошел? Зачем ты газ жжешь среди ночи?

Он коротко взглянул на нее. Непривычно как-то, робко. Встал, прикурил от конфорки, сбоку потянувшись сигаретой. От синего газового пламени лицо его наклоненное было бледным, с резкими тенями скул и надбровий.

— Я знаю, я тебе испортил жизнь,— говорил Андрей.— Я не имел права.

Аня молчала. Шевелились над плитой целлофановые пакеты, взлетали над газом и все не могли отлететь.

— Ты могла бы быть счастлива. Хотя бы... с Борькой. Да...— говорил он жестко и все жестче и при этом робко взглянул на нее.— Я — никто. И права не имел.

А она все молчала и смотрела на него, еще чего-то требовала. Даже когда молодой говорил он ей, что любит, что не обещает ей легкой жизни, но любить будет верно, даже тогда она так не смотрела на него и не ждала.

— Вот помни! — сказала Аня, страшными глазами глядя на него.— Когда я буду старая, некрасивая и ты захочешь мне сказать... Помни, что ты мне сейчас говорил! — И она прижала к себе его голову.— Дурак ты мой, дурак! Нет, какой ты все-таки дурак! Дети ведь скоро взрослыми станут, а он все такой же.

Он говорил недовольно:

— Обожжешься... Сигарета ведь... Ну что ты? Ну, обожди...

Странно бы показалось, если б кто увидел их сейчас: в четвертом часу ночи стоят, обнявшись, посреди кухни, как будто им кроме нигде места нет. Но уже все окна в доме были погашены.

## ГЛАВА XXIV

Неужели это были лучшие дни его жизни? Тогда они стояли в Болгарии. Война кончилась.

Нет, даже не самый День Победы вспоминался ему. Это в Москве творилось великое торжество, и весь народ вышел на улицы, и люди пели, и плакали, и салютовали. И, себе не веря, что это они свершили, искали того, кому обязаны победой. Это в поверженном Берлине, откуда вышла с маршами война и где в гроб загнали ее, палили вверх со ступеней рейхстага. А у них как-то буднично получилось на их наблюдательном пункте далеко за Веной, в Австрии. Даже вина в первый момент не оказалось.

Это после погнали коней, и старшина привез откуда-то бочку вина, и тоже устроили у себя салют: стреляли вверх из автоматов, стоя на холме. И сфотографировались все вместе: 9 мая 1945 года, последний наблюдательный пункт. А все вроде чего-то не хватало: слишком ли долго ждали этот день, поверить ли еще не могли? Казалось, что-то еще должно быть необыкновенное. А должно было время пройти, надо было привыкнуть к самой этой мысли: свершилось! Понять, что мир настал.

И вот вспоминалось ему, как стояли они в Болгарии. Удивительнейшее было чувство, никогда больше он этого не испытал: ничего, вот совершенно ничего не нужно. Что дальше будет? А пусть что будет. Знал: что бы ни ждало впереди, это уже не повторится. И на всю жизнь берег.

Многие суетиться начинали, списывались с кем-то, одолевали соображения о будущем устройстве, а ему сейчас было хорошо. Главное сделано: победили. Война кончилась. Все по сравнению с этим ничто.

А уже присылали молодых из России: тех, кто после них будет служить. Начинались мирные учения. Ночью

подымали по тревоге, днем дивизион уходил в горы играть в войну. Занимали огневые позиции, рыли наблюдательные пункты. Он приказывал разведчикам выставить стереотрубу и наблюдать неусыпно: не показалось ли где-либо, не движется ли на них начальство? А остальным — спать.

Приносили разведчики виноград, вчетвером растянув плащ-палатку за углы. Чему он мог учить своих стариков, прошедших войну? Так же, как он сам, ждали они демобилизации. Пусть отсыплются за все, что на войне недоспали, что впереди доспать не придется. А молодые... Молодых ему было жаль: в войну росли. Пусть хоть пока поживут, скоро служба подтянет им ляжку.

Ах, какие это были дни! Никогда уже больше этого не было. И не скажешь себе теперь: главное сделано, чего же ты? По рассуждению, по трезвой логике вроде бы можно. А не скажешь. Ненадолго хватает человеку прошлого, не получается жить у себя взаимы. «Пришел — будь добр!..» — говорил их старшина. Видно, и на все случаи жизни так: пришел — будь добр.

Теперь он подолгу возился с детьми. В субботу и воскресенье никуда не выходил из дому. Как-то за два вечера, сидя с Митей на полу, построил на фанерке из спичек целый дворец. Спичек не хватало, Митя бегал к ребятам во двор, приносил по коробке, по полкоробки, влюбленно заглядывал отцу в глаза. Аня вернулась из школы после родительского собрания, в доме нечем зажечь газ. Послала к ним Машеньку одну спичку взять, Митя, бледный, кинулся на сестру с кулаками.

И только с ней после той ночи Андрей был сдержан, избегал смотреть ей в глаза, а иногда, ей казалось, он как-то враждебно смотрит. Не прощал ей момента своего малодушия. Она знала, нет для него сейчас человека отвратительней, чем он сам. Но по мужской логике, он на нее смотрел враждебно. И не ссора, а тишина в доме такая, что и дети притихали поневоле.

Иногда он и света не зажигал в комнате. Курит в темноте или ходит из угла в угол, насвистывает арию Каварадосси. Спросишь — отвечает односложно. Только один раз, когда она, его жалея, стала говорить, что все придет в свой срок, он сказал нехотя: «Для истории все в свой срок. Но у нее сроки другие».

Давно еще, когда Машеньки на свете не было, а Митя был совсем крошечный и жили они особенно трудно, пошла она получать деньги за частный урок: тогда она еще давала уроки. Был вечер, темно, Андрей пошел ее провожать и ждал на улице; они вообще любили ходить вместе, и все им хорошо было вдвоем. Получила Аня двести рублей старыми деньгами: за десять уроков собралось. Двести — это все же звучит, не то что двадцать. Но так у них ничего не было, столько им надо было купить, что Аня сказала с легкостью: «Давай купим тебе бутылочку водки и пойдем домой ужинать. Мама картошки наварит».

Они тут же зашли в магазин, купили еще селедки, грибов, тогда совершенно просто можно было зайти и купить, например, маринованные грибы. И так все хорошо было в тот вечер, особенно как-то, он не раз потом вспоминал ей.

И вот Аня приготовила к воскресенью опять все как тогда. Знала, что дважды в жизни одно и то же не бывает, а все-таки старалась, ездила за баночной селедкой через весь город: кто-то из учителей сказал, что видел там. Дети, спавшие по-воскресному поздно, обмирали от восторга, а Андрей даже не видел, что ел, и она сидела красная от обиды.

После завтрака он неожиданно предложил съездить в деревню договориться с хозяйкой на лето: дело к тому подвигалось, скоро детей вывозить. Аня ехать не могла, у нее только что два класса писали сочинение, и горы непроверенных тетрадей лежали на окне. Да он, кажется, и хотел ехать один.

От станции Андрей шел пешком. Мимо переезда, где тогда сидела стрелочница на вымытом крылечке и пила из кружки молоко, глядя на закат. Теперь автоматический шлагбаум сам ходил вверх-вниз, подымался и опускался. У первых домов встретил на улице Клаву-почтальона. И так что-то обрадовался ей, чуть не погладил рукой по голове.

— Ну что, Клава, как живешь?

— Живу — старюсь.

А брови подчернены, сама принаряжена. Жизнь берет свое.

— Сын растет?

— Бегает.

Куда-то Клава торопилась. В новых туфельках, чуть припыленных, спешила, догоняла свою судьбу, и была вся как этот день воскресный.

Встретил он и Лешу. Посидели, покурили на берегу под старой ветлой, у которой вся сердцевина выжжена: мальчишки костер разводили в ней.

Внизу ровень с водой лежала на грунте затопленная лодка, только нос и корма немного выступали из воды. Хорошо было сидеть вот так и смотреть на реку. Спокойно. Изредка ветром наносило с полей рокот трактора, еще чуть-чуть становилась тишина.

Вернулся он домой под вечер. Аня встретила его известием:

— Тебе звонили от Николаева, от директора химкомбината.

Обрадованная за него, она ждала, что и он обрадуется.

— Просили сразу же, как только приедешь, позвонить.

Но известие он принял до безразличия спокойно. Нет, не будет он звонить, да еще в воскресенье вечером. Что за срочность такая? Столько дней было, никто не спешил. Разыщут, если нужен. Достаточно он суетился

последнее время. Весь этот год прошел в суете. И все не по делу. Даже мысли в голове одни суетливые: кто посмотрел? как посмотрел? где, что, кем сказано? Он не места себе ищет под солнцем: опоздал — займут. Он работник, а работники сегодня в цене. И все нужней, нужней становятся.

В жизни человек должен делать одно дело — свое. Главное. А в вечном стремлении совместить несовместимое чем-то одним платить приходится. И для начала всякий раз платят совестью и талантом. А потом уже и дать нечего. Вот так на этом пути обретений и потерь. Каждый думает, что он перехитрит жизнь, а перехитрить удается себя самого.

Конечно, все это и до него было известно и понятно людям. И сто и тысячу лет назад. Но мы-то живем свою жизнь впервые, свою единственную. И не такую уж длинную. В молодые годы с легкостью думается: это до нас было. Старше становишься, понимаешь: это было со мной. И чужой опыт тогда только твоим становится, когда свой есть, когда побьешься об жизнь боками и она тебя чуть-чуть уму-разуму научит. И не все дело в том, чтобы понять. Надо еще решиться, твердость в себе найти. Вот это главное.

Ему позвонили утром в мастерскую:

— Товарищ Медведев? Вы самый и есть?

Голос какой-то запаленный, словно человек не по телефону говорит, а бегом бежит.

— Сейчас с вами говорить будут...

Андрей сел на стул. Достал сигареты. Между ним и Полиной Николаевной — стол, пишущая машинка, телефон, от которого растягивается к трубке провод-спираль. Дверь в кабинет, пустовавший теперь, как раз перед его глазами.

— Давайте закурим, Полина Николаевна.

Она что-то почувствовала, заволновалась, массивная брошь задвигалась на ее груди. Привстав, Андрей про-

тягивал газовый огонек зажигалки, а в трубке уже другой был голос. Молодой, умягчающий слух, с бархатистыми нотками:

— Андрей Михайлович? Это вас химики беспокоят. От товарища Николаева.

«Беспокоят...» Ох, беспокойте нас, беспокойте! И удивлялся себе одновременно: что так спокойно ему? словно не про него речь.

— Сейчас с вами лично будет говорить Константин Прокофьевич.

Как будто даль открылась там: слышны стали голоса и шум какой-то. Но все же рано включили кабинет: как раз Николаев спрашивал грубовато: «Как его имя-отчество?» За это время Андрей и сам прикурил и затаился хорошо так пару разочков. «Андрей Михайлович», — подсказали там.

— Андрей Михайлович? — раздалось в трубке. — Здравствуйте. Вы могли бы сейчас приехать к нам?

«К нам». Не «ко мне». И отчество подождал. Это где-то без отчества обходятся, а в России оно не просто далось, потому и многое значит. Вот если по отчеству, разговор приобретает смысл.

— Смогу, — сказал Андрей.

А все что-то в нем упиралось. Потому, наверное, что это последние минуты, пока он еще свободен, пока ему нечего терять.

— Машина за вами выходит.

Время опять начало разгоняться. А пока что они сидели с Полиной Николаевной и курили. Как перед дальней дорогой.

— Кажется, жизнь запускает меня на новый виток, — сказал Андрей.

И показалось ему, что Полина Николаевна вдруг быстро зашептала что-то про себя. Он засмеялся, сжал ее руку:

— Милая Полина Николаевна!

Честное слово, он был тронут.

Его ввели в директорский кабинет в тот момент, когда совещание там кончилось. Люди складывали бумаги, сворачивали чертежи на длинном столе и выходили. Остались кроме Николаева двое. Он их представил: парторг Скурихин Андрей Павлантьевич, заместитель директора Милованов Георгий Лукич.

— Мы с вами тезки.— Скурихин улыбался ласково и ласково руку пожимал.

Конечно, для такого разговора надо бы знать поточней, что ему предшествовало, по каким линиям шло, почему спешка началась. Информация — мать интуиции. Но нет так нет. Все же сорок один год он прожил на свете.

От той мимолетной встречи в перерыве совещания, когда Смолеев, сказав несколько полушуточных, как бы необязательных слов, познакомил его с Николаевым, который глядел хмуро, от той встречи к сегодняшнему разговору, несомненно, прочерчивалась линия. Скурихин мог улыбаться. И если получше поглядеть, то выходит, что они со Скурихиным не только тезки по именам — они еще и по делу крестники. «Однodelьцы», как скажет юрист.

Тем временем сели, и разговор начался. Николаев говорил, не напрягая голоса: установочно, властно. И чем масштабней он развивал мысль о том, какой дом отдыха, вернее, комплекс намерены строить, тем все более похоронным становилось лицо Милованова. Он за каждым директорским словом рубли считал. Неожиданно завозил короткими руками по столу, как будто сгребал что-то или искал.

— Вы бы нам хоть нарисовали что-либо для видимости. Хоть на бумаге поглядеть, подо что деньги бросать. Деньги-то ведь какие!

— Ну, ты уж сразу-то не пугай, Георгий Лукич,— взял Андрея под свою защиту Скурихин.— Тут все же

творческий процесс. Это мы к твоему характеру привыкли, а человек творческого труда — это, знаешь, совсем другой механизм...

Директор снял очки, дужкой почесывал широкую переносицу.

— Сразу не испугаешь, потом не испугается, Лукич дело знает.— И улыбнулся враз всем лицом.

— Лукич, Лукич... Последний человек на комбинате Лукич!

При небольшом росте и женственной мягкости форм лицо у Милованова было желчным. А может, напугал на себя, роль такая.

Но Скурихин и тут шуткой смягчил:

— Так ты нам, Георгий Лукич, всю свадьбу испортишь. Фигурально выражаясь, невесте только еще предложение делают...

— То-то, что оженят, меня не спросивши! — И Милованов по мягкой шее похлопал себя звучно. И даже покраснел.

Роль. И должность. Чтобы директор мог делать широкие жесты и выглядеть красиво, должен быть у него и такой хамоватый зам. Не беда, если переберет через край, в случае чего можно его и одернуть. Но дело придется иметь с Миловановым, это уж точно. Впрочем, до дела далеко еще. А пока что его Николаев интересовал. Вот кто его интересовал сейчас.

Из всех проблем архитектуры есть одна, менее всего от архитектора зависящая, сложнейшая из сложных: заказчик. Рядом с великими творениями ему надо поставить памятник: не он создал, но он оказался способным понять и потому создано при нем. И на том кладбище, где столько человеческого гения зарыто безвестно, ему надо отлить памятник до небес. Андрей курил под мягкое жужжание вентилятора, при каждом повороте повевавшего на него ветерком. Слушал.

Что директор химкомбината мужик властный, в го-

роде знали все. Но сейчас Андрей видел, что он еще и самолюбив. По глазам его это прочел. Это хорошо. А если стройка эта станет любимым детищем, тут многие возможности открываются для архитектора. Только не напугать заранее. Пусть поставят одну ногу, а вторую ставить придется. И улыбнулся, на себя взглянув: они еще и одной не поставили, а он уже двумя там стоит.

А в общем, все происходило, как в век реактивной авиации: полтора часа до аэродрома, полтора часа с аэродрома и двадцать минут в полете. Весь этот предварительный разговор длился двадцать три минуты, как показали электрические часы над дверью против директорских глаз. Много ли нужно, чтоб сделать человека счастливым? Двадцать три минуты разговора. Впрочем, для этого достаточно и трех минут.

Прощаясь, как бы теперь только вспомнив, Андрей руками развел:

— Я совершенно забыл предупредить, может, вы не совсем в курсе дела... Есть еще организационная сторона вопроса. Я ведь, в сущности, не частное лицо. У мастерской есть право...

Но они были в курсе дела, как он себе это и представлял. Не такие вопросы им решать приходилось.

Прощаясь с Миловановым, Андрей пообещал:

— Непременно все нарисую на бумаге.

— Да уж нарисуйте, нарисуйте.— И Милованов щеками затряс, не суля мира наперед.

А Скурихин, тепло пожимая руку, сказал — как о выполненном задании доложил:

— У Игоря Федоровича будете; привет передавайте. Простой он человек. И человечный, вот что главное.

Не разубеждать же, что не каждый день он ходит пить чай к Игорю Федоровичу. Один раз случилось. А если все же такое впечатление создалось, значит, Смолеев счел нужным создать его. Вот и примем это как аванс.

## ГЛАВА XXV

В центре города Андрей отпустил машину, обнаружив по часам, что сейчас в школе время большой перемены. Значит, Аня в учительской. Он вышел у первого телефона-автомата, и, стоя в стеклянной будке, волновался и ждал, пока ее подзывали. Почему все эти дни он смотрел на нее как на своего личного врага? Затмение, что ли, нашло?

— Я слушаю,—сказала Аня.

Когда он из дому говорит с ней по телефону, дети в соседней комнате кричат: «Можешь не повторять, что мама велела! Мы слышали!»

Вот такой поставленный учительский голос.

— Слушаю! — повторила Аня, уже беспокоясь.

Он сказал, приблизив трубку к губам:

— Ты — наша мама.

Аня помолчала.

— У тебя все хорошо?

— Все хорошо. Но не в этом дело.

— В этом. Именно в этом. И я уже привыкла.

— Ну прости.

— Хуже, что и ты начинаешь привыкать. И дети зависят от приливов и отливов.

А интонация все та же ровная, как в классе; кто не слышит слов, ни за что не догадается, о чем разговор. Но и слушать некому. В учительской сплошное гудение: не только ученики — учителя тоже рады, что вырвались на перемену, курят сейчас, и женщины не уступают мужчинам.

— Ты моя лучшая самая. Ты мама наших деток. Ну прощай ты и мне, дураку, иногда.

Она молчала.

— Аннушка!

Вот и Борька называет — Аннушка. У него украл, подлец.

— Ну все же я не самый худший из мужей?

— Вот только что!

Он слышал: она улыбается.

— Ты моя единственная.

— И еще ты не воруеть,— сказала Аня.

Самые нежные слова говорил он ей сейчас, стоя на улице в будке автомата: собственной жене объяснялся в любви на пятнадцатом году совместной жизни. Да еще середь бела дня. И обещал, что никогда никаких ссор между ними не будет. И сам верил в это. А она знала: будут, будут не раз, потому что это жизнь. Но когда она была молодая, когда еще не умела прощать, ее это так обижало, что жизнь временами казалась невозможной. И вот тогда ссоры между ними бывали ужасны. А потом родились их дети, столько было с ними пережито, и жизнь научила ее и добрей быть и мудрей.

— Аннушка, родная, ну что же ты молчишь?

— Я из учительской,— напредила она. А голос был глуше, глубже, но она все же владела им.

Когда Андрей вышел из автомата, он с удивлением обнаружил, что день-то пасмурный. А ему казалось — солнце с утра.

Люди шли по улицам, скапливались у переходов, нетерпеливо ожидая, когда вспыхнет зеленый свет и не машинам, а им будет дано наконец право идти свободно, не опасаясь.

Что за странное человеческое сообщество — город! Все всегда здесь бегут, снуют. Случилось у человека горе — все спешат по своим делам. Случилась радость — опять ничего не случилось. Бегут. Ведь не огородами, плетнями, дворами разделены, на одной лестничной площадке живут, дверь в дверь, и могут быть незнакомы при этом.

— Девушка, милая.— Стоя посреди тротуара, Андрей протягивал мелочь на ладони бежавшей навстречу

молодой женщине.— Разменяйте по две копейки. Или дайте монетку насовсем. Вся жизнь от этого зависит.

И она улыбнулась, как в лучшие его молодые годы улыбались ему девушки. Нет, удивительное все же создание человек: стоит посмотреть на него по-человечески — и он на тебя по-человечески глядит. И улыбается даже. А кругом шум, бензин, пневматическим молотком долбят асфальт и бетон под ним. Богатый мы все же народ! И откуда у нас быть безработице, когда четвертый раз за последнее время вскрывают асфальт на этом месте, и все по принципу: не рой другому яму.

Дрожит вокруг все и грохочет, как при артподготовке. И при этом грохоте они с девушкой улыбаются друг другу, и он кивает и благодарит, и она тоже кивает: мол, не за что; как два иностранца объясняются в своем городе жестами и мимикой, потому что от этого грохота все равно ни слова не разобрать.

Из автомата, дверь прикрывая, глянул ей вслед. И она обернулась. Ну почему мы не мусульмане?

В последний раз стрельнули глазки и скрылись за углом. И улыбку унесли с собой. Вот это и есть город: еще двадцать лет рядом проживут, по одним улицам будут ходить и не встретят друг друга.

Странное человеческое сообщество — город. И войнами правит, и мир на земле творит, и разум и талант весь стремится вобрать в себя, и все шире, шире расплзается по планете. И шумно в нем, и дымно, и грохотно, а вот нет же нам места милей.

Всю войну не речку и луг, не стога и родные дали, а двенадцатиметровую комнату с одним во двор окном вспоминал он, где так тесно, так тесно они жили. И не было для него лучше места на земле. И без того единственного окна, что с третьего этажа через всю войну ему светило, не было для него родины.

В телефонной трубке давно уже и устойчиво раздавались долгие гудки. Нет Борьки. Поискал еще по двум

телефонам. Нигде нет. В такой день его нет. Занят смертельно. Все заняты. Борька занят, Аня занята: сеет разумное, доброе, вечное. Отметить и то не с кем. Но и не отметить — грех. Великий, непростительный грех.

Он пересек улицу, пошел по другой стороне. Ну, Георгий Лукич, держись, товарищ Милованов! Ты еще со мной хлебнешь сладкого. Ты ведь небось и в архитектуре разбираешься? Кто в ней, родной, не понимает лучше нас, грешных? В ней да в медицине. Разве только врачи да архитекторы в чем-то сомневаются еще, а все давно уже знают всё. Дело с тобой начинаем, Георгий Лукич. Ты к концу его таким станешь изящным, тебя снова девушки будут любить.

Пожилой гражданин, мимо которого проходил в этот момент Андрей, остановился и недоуменно и гневно поглядел вслед. Что такое, почему этот незнакомый молодой человек таким превосходством обдал его, да еще и подмигнул при этом? Но Андрей ничего не видел. Он разговаривал с Миловановым, с Георгием Лукичом.

Ты и слово такое знаешь: капитально! Теперь вообще много разных слов. Где бы сказать просто — сабантуйчик, теперь непременно — симпозиум. У всех везде сплошные симпозиумы. Нельзя, престиж! «Капитально...» Может, еще китайской стеной обнести? Из всего живого один только человек живет в искусственной среде обитания, которую сам себе создал. И с нею вместе, со сплошным бетоном, железом и грохотом перенести его туда? Нет, мы уж что-нибудь поинтересней придумаем. Пусть хоть раз в году открывают люди для себя мир таким, каким он до них был. Ну не совсем он такой теперь, а все же что-то еще осталось, что-то сбереглось, несмотря на несколько тысячелетий полезной человеческой деятельности. В общем, есть у нас, Георгий Лукич, несколько мыслей на этот счет, так пока что скажем для начала

После стольких дней, когда все было мрачно и

жизнь не имела смысла, Андрей вновь чувствовал в себе силу свершить. И какое ему сейчас дело до всех мировых проблем, вместе взятых? И как оно там обстоит, с той великой равнодействующей, которая слагается из общих, из разнонаправленных усилий отдельных людей, целых народов и стран, как оно там с этой равнодействующей его дело соотнесется, ему сейчас было абсолютно безразлично. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал поэт. Но нам дано счастье видеть свое дело, любить его заранее, верить, что никому кроме, только мне под силу это свершить.

Андрей снова перешел улицу, и снова за угол свернул, и перешел два раза трамвайные пути, а где он сейчас, вряд ли он сознавал. Он шел по своему городу.

И увидел арку кирпичную во всю высоту первого этажа дома, чугунные фонари по бокам, три каменных стертых ступени вниз, к дверям. А напротив дверей у тротуара стояла машина, и шофер в машине читал книгу. Когда-то здесь были склады, а на той стороне — разрушенные в войну дома. Вот что значит молодость! Ведь на одном чистом энтузиазме все здесь делалось. И убеждали, и разгружали склады, и сами отскребали сводчатый кирпичный потолок. Нашелся дурак, который тут же хотел его оштукатурить.

Четверо их было тогда, недавних выпускников. Борька был, он был. Все делали вчетвером: и мебель, и светильники проектировали, и фонари чугунные над входом, которые потом кузнец отковал (нашли и кузнеца!). А пол в елочку выложили из пережженного кирпича, по штуке подбирали. Вот никак санинспекция не разрешала, чтобы пол был посыпан опилками. Вспомнишь — сколько тут пережито! А увлечены были — ничего кроме не видели. Кто поверил бы тогда, что со временем это и будет самый модный ресторан, что под Новый год здесь по великому знакомству столика не достанешь.

Андрей спустился по трем стертых ступеням, за чер-

ное кольцо потянул на себя дверь на кованых петлях. Давно он здесь не бывал.

Он вошел под сводчатый кирпичный потолок и по опилкам (по опилкам все же!) прошел через полусвет к ярко освещенной стойке у дальней стены.

— Филипп Андреевич, живой?

— Живой, Андрей Михайлович, живой, некогда нам помирать.

А сам, прижмуренный глаз не открывая, наливал на весу и на свету коньяк в графинчик. Незнакомая официантка ждала рядом, она покосилась на Андрея как на свидетеля. Голова Филиппа Андреевича расчесана гладко, седоватые усы подстрижены раз и на всю жизнь. Если бы нужно было специально заказать сюда буфетчика, отковать у кузнеца, так вот такого и никакого йначе. Но он сам отыскался на это нескучное место.

Рюмка водки, которую Филипп Андреевич налил, сверкала на свету, как бриллиант. И бутерброд был подан на тарелочке: две распластанные кильки, темные по спинкам, серебристые; зелень, срез крутого яйца — желток, белок. Жаль вот, один пришел.

— Будь здоров, Филипп Андреевич.

Потом он оглянулся от стойки. А все же они молодцы, ребята. В сущности, ничем не разгороженный зал, только у стен чуть-чуть обозначены перегородки. Но так столы поставлены, такой свет, что каждый сидит как в особом кабинете. И кабинеты эти разные как будто. Молодцы!

Его позвали негромко:

— Андрей Михайлович!

Ослепленными ярким светом глазами взгляделся в зал. Не понял, кто зовет. Расплатился. Когда отходил от стойки, позвали опять:

— Медведев!

Кирпичная стена. Свет — как желтый огонь свечей. Людмила Немировская сидит за столиком. Не одна.

Он не видел ее с тех самых пор. Подойдя, Андрей почтительно поздоровался. Людмила познакомила его:

— Всеволод Вячеславович.

Лет пятьдесят Всеволоду этому Вячеславовичу. Может быть, с двумя-тремя еще годочками.

Удивительно, как способна меняться женщина. В зависимости от освещения, от того, кто с ней. В черном дорого и просто сшитом костюме, будто все еще носит траур, без косметики, то есть с той искусной косметикой, которая не видна и тон кажется собственным загаром, Людмила выглядела сейчас лет на тридцать пять. Она ли это с коньячными искорками в глазах крикнула тогда ему при всех: «Требуется мужская сила! Нести!» И посреди кухни с ложки серебряной кормила его чесночным соусом...

— Пожалуйста, не подавись костью...

Всеволод Вячеславович поднял вполне осмысленные глаза, что-то промурчал и опять уперся ими в карпа. Заботливая жена сидела сейчас рядом с ним за столом.

Андрей мысленно посчитал столы от стойки. Да, шестой столик. И тогда, лет пять назад, вот здесь же, за шестым или седьмым столиком, сидела Людмила, только что вышедшая замуж. Молодые, веселые, голодные, они ели карпа, целиком запеченного в сметане, одного на двоих. Все вернулось на круги своя. Опять карп, запеченный в сметане, только перед каждым свой.

Подняв лицо, Людмила снизу смотрела на него.

— Вот кого папа любил. Быть может, единственного из всех...

Глаза без блеска, глубокие, как темный бархат. Вглядишься — и утонешь в них. Милая девочка! Пусть от того пирога в жизни твой будет самый сладкий, самый из середины кусок. Но жаль того огня...

На улице все так же ждала машина и шофер читал толстую книгу.

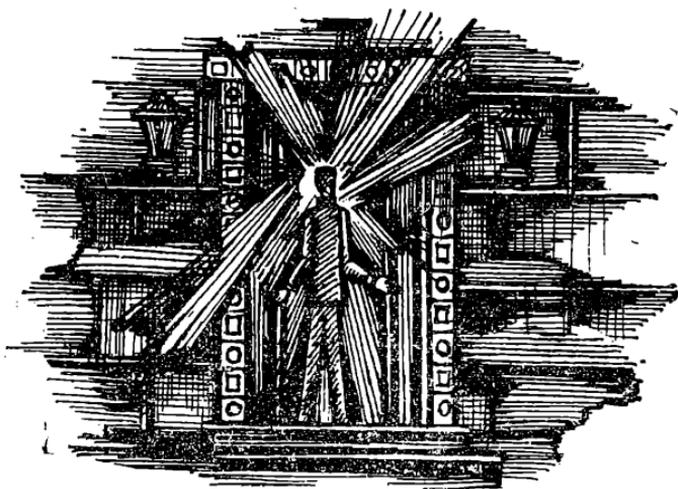


В ясный солнечный день, ведя внучку за руку, вышла Лидия Васильевна из дому. Не так давно они проводили Людмилу. С мужем она уехала в другой город, к месту его назначения. И была уже телеграмма, и она уже звонила оттуда. А Олечка оставалась с бабушкой. Пока что.

Совсем седая, но в той же застроченной белой кофточке с черным шнурком-бантиком, Лидия Васильевна шла с внучкой по городу. И день был ясный, такой же солнечный, как день его рождения, как день похорон. И это было невозможно понять. Все в жизни она теперь видела его глазами, которых уж нет. И солнце и смеющихся, чему-то радующихся людей.

Олечка шла рядом, припрыгивала, и тормошила ее, и спрашивала непрерывно. И в этой маленькой ручке, которую она держала в своей руке, была великая правда, примиряющая даже с тем, чего мы не можем понять.

Что бы ни думали о себе люди, как бы им ни представлялось то, что с ними происходит, у жизни есть своя мудрость и свое милосердие.



*Григорий Яковлевич Бакланов*

ДРУЗЬЯ

М., «Советский писатель», 1977. 272 стр. План выпуска 1977 г. № 70. Редактор *А. А. Елшина*. Художник *А. И. Добрицын*. Худож. редактор *В. В. Медведев*. Техн. редактор *Л. П. Полякова*. Корректор *Л. И. Жиронкина*.

Сдано в набор 30/VI 1976 г. Подписано в печать 30/XII 1976 г. А09247. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Печ. л. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Усл. печ. л. 11,9. Уч.-изд. л. 12,39. Тираж 150 000 экз. Заказ № 750. Цена 42 коп. Издательство «Советский писатель». Москва, Г-69, ул. Воронского, 11. Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография имени Володарского Ленинград, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

42 коп.

